



Юрий Давыдов

Завещаю вам, братья

Давыдов Ю. В.

Завещаю вам, братья / Ю. В. Давыдов —

Юрий Давыдов известен читателю как автор исторических романов и повестей. История давно и серьезно интересует писателя. С первых своих шагов в творчестве он следует неизменному правилу опоры на документальную основу. Его литературной работе всегда предшествуют архивные разыскания. В центре повести «Завещаю вам, братья...» – народоволец Александр Михайлов. Выдающийся организатор, мастер конспирации, страж подполья – таким знала Михайлова революционная Россия. Повествование ведется от лица двух его современников – Анны Ардашевой, рядовой деятельницы освободительного движения, и Зотова, ныне забытого литератора, хранителя секретных портфелей «Народной воли». И новизна материалов, и само построение сюжета позволили автору создать увлекательную книгу.

Содержание

Пролог	6
Глава первая	9
1	9
2	12
3	14
4	17
5	21
6	23
7	26
8	28
Глава вторая	32
1	32
2	37
3	41
4	46
5	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Юрий Владимирович Давыдов ЗАВЕЩАЮ ВАМ, БРАТЬЯ...



Пролог

Спору нет, на восьмом десятке не мешкают. И все же я бы не решился приступить к этой истории, если б главные герои были еще живы. Увы... Последней, и совсем недавно, скончалась Анна Илларионна. Да, очень я с ней дружен был, хоть и громадная дистанция в годах.

Я потому и пригласил вас, друзья мои, что и впрямь откладывать нельзя: на ладан дышу. Да и то сказать: люди вы молодые, что там потерять два-три вечера? К тому же на дворе тускло и мокро и ветер со взморья холодный...

Сознаю, рассказ выйдет рассказом постороннего – я не принадлежал к тайному обществу. Однако судьбе было угодно, чтобы я оказывался на скрещении разнородных жизненных линий.

Не люблю предисловий, но – минуто терпения.

Во-первых, позвольте без кокетства – ужасно смешного в людях моего возраста – объявить вот что. На своем веку я извел бочку чернил и даже знавал успех, но никогда не выступал из задних рядов пишущей братии. Я это к тому, чтоб вы не рассчитывали на блеск и глубину, а уж за достоверность, за искренность ручаюсь. Во-вторых, наперед извините частое выскакивание моего «я»: это неизбежное неудобство. Впрочем, где можно, стушуюсь. И в-третьих... Понимаете ли, журнального поденщика жизнь сводит с людьми разных слоев. Я к тому и коренной петербуржец, знавал многих. Так вот, в-третьих-то, я по ходу дела отмечу, как мне сделалось известным то или иное, однако не взыщите, не все открою – годы минули, а нельзя-с, рано.

У беллетристов есть манера с порога подцепить читателя какой-нибудь тайной, но тут власть воспоминаний, и бог с нею, с беллетристической...

Ясности ради придется взять некоторый «разбег».

Видите ли, больше полувека тому, в сорок первом, кончив курс лицея, я определился в канцелярию военного министерства и надел сюртук с красным воротом и светлыми пуговицами.

Среди моих сослуживцев были двое, особенно мне близкие. Салтыков, тоже лицеист, но младшего курса... Да-да, будущий Щедрин, он самый... А еще – Илларион Алексеич Ардашев. Добрейшая душа, немного, правда, сумрачная. Мы быстро сошлись: оба пламенели страстью к театру.

В канцелярию я хаживал вяло. Купил на аукционе вот этот письменный стол да и принялся строчить: на первых порах сделался драматургическим писателем. Мне скоро дали понять, что я негоден военному министерству. Спасибо Маслову, однокашнику Пушкина: Маслов меня, как лицейского, пригрел в департаменте разных сборов. И совершенно не обременял занятиями. Так что времени достало и для домашних писаний, и для театра, где мы по-прежнему встречались с Ардашевым.

Бывал я и у него дома, в Эртелевом переулке. В особенности зачастил, когда Илларион Алексеич овдовел. У него были дети: сын Платоша и дочь Аннушка. Платон, красавец собой, с младых ногтей поклонялся Марсу. Что ж до Аннушки, до Анны Илларионны, то о ней еще много впереди, а здесь прошу заметить: я знал ее совсем еще крошкой, когда ее в Летний водили, к дедушке Крылову. Ну, а к моменту, от которого поведу рассказ, она, бедняжка, уже успела побывать в тюрьме. По нашему-то размаху и недолго, месяца три, да ведь совсем барышней, двадцати двух от роду.

Невдолге перед тем друг мой Илларион Алексеич умер. Простыл на Сретенье и быстро убрался, а я с этого времени стал его детям *factotum*¹.

Я многое опущу и многого не трону, а напрямик перейду к одному ноябрьскому дню семьдесят шестого года. Именно в тот день главнокомандующий уезжал из Петербурга в армию.

¹ Доверенное лицо (*лат.*)

Мне случилось быть на Невском. Толпа кричала «ура». Великий князь мчал в открытой коляске. Он был красив, Николай Николаич Старший...

Последняя наша война, вы помните, конечно, загорелась из-за болгар, измученных Турцией. Ну и эта наша золотая мечта: Босфор с Дарданеллами, Царьград. Брань старинная, еще не однажды ребром встанет.

Я тогда уж года три как сотрудничал у Краевского в «Голосе»: секретарь редакции Владимир Рафаилыч Зотов, вот так-то. «Голос» о ту пору звучал чисто. Мы хотели мирного решения; славянофилы клеймили нас едва ли не изменниками.

Возьмем, впрочем, ближе к тем, о которых поведу рассказ. Тут узел: война и нигилизм... Нет, лучше так: война и революционеры. А то ведь каждый на свой салтык это самое слово «нигилизм».

Да, вопрос нешуточный, доложу вам, господа! Война и революционеры – нешуточный вопрос. После-то громом террора заглушило и вроде бы никакой связи. А если вдуматься, то и заметишь: война, друзья мои, она и затихнув, много еще годов продолжается. Так сказать, в поступках, в мыслях продолжается.

Я молодым был, когда Севастополь грянул. Герцен с Бакуниным желали поражения. Да, желали, а душа-то? Душа мучилась нашими поражениями. Вот так-то и во время русско-турецкой войны.

Вы когда-нибудь думали о капитальной складке русского революционера? Знаете ли, была она, эта рельефная черта нравственного облика – со-стра-да-ние... Жгучее и непреходящее сострадание. И не мечтательное, а деятельное, вот в чем суть. Высокое, скорбное чувство, какое-то женственное, как в русских сказках. Здесь, по-моему, исток, ключ ко всему, что происходило в семидесятых-восьмидесятых...

Итак, главнокомандующий, провожаемый кликами «ура», промчался по Невскому. Толпа разрежилась. Я решил заглянуть в Эртелев, к моей Аннушке. Знаете ли этот дом, где некогда жила Глинка? Вот туда, но только во флигель, через двор.

Пришел, застал дома.

Есть у меня фотографический портрет Аннушки. Странное и роковое происшествие связано с тем фотографом, который этот портрет сделал... Есть, говорю, фотография, а показывать не стану: главное, характерное не схвачено. О, не была она дурнушкой, что вы! Однако и не красавица. Вся прелесть – в глазах. словно бы однажды и навсегда завладела ею трудная, очень важная, очень серьезная дума. И напряженная морщинка, тоненькая, вертикальная морщинка вот здесь, над переносьем.

Ну хорошо, пришел.

Анна-то Илларионна, оказывается, и сама только что с Невского. Заметно было, что очень взволнована. Мы еще толком не разговорились, как является молодой человек.

Забыл, как он назвался. В разные времена были разные имена: закон конспирации. Но чтоб уж вас не путать, я сразу и навсегда: Александр Дмитрич Михайлов. Так и запомните: Михайлов, Александр Дмитрич.

Лицо приятное, свежее, с румянцем. Молодой, но степенный. Скромное достоинство и степенность... Анна Илларионна жестом пригласила его не дичиться: дескать, Зотов свой.

Он кивнул и тотчас ей вопрос, как пику: «Ну что ж? Война вот-вот, и вы, значит, решились?!» Анна Илларионна вспыхнула: «Всегда это вы сплеча рубите...»

Этот Михайлов и не улыбнулся, и не сбавил тон.

«Ладно, – говорит, – пусть так. Но вы давеча согласились: царь затевает войну ради идеи, в которую не только не верит, но которая ему чужда. Романовы и свобода... Пусть и болгарская свобода, но Романовы и свобода – разве совместно? Нам за одну мечту о свободе – решетка. А там, за горами, за долами, там болгарам свободу учредят?»

Она ответила: «Как не помочь страждущему солдату?!» Михайлов возразил: «Сестрами милосердия и барыни не прочь, а в деревню, к мужику...» Анна Илларионна быстро, резко скрестила на груди руки: «Война ужасна! Но без нее мы обречены на рутину, застой!» Михайлов глядел исподлобья. Он сказал: «Есть пословица: побежденным – горе. Врет! Победителям – горе. Победа – вот где застой. Все эти лавры лишь новые цепи».

Я не ввязывался, но душой был на стороне Аннушки. Не очень-то он мне приглянулся, этот молодой человек. Я унес впечатление, что он весьма холодный доктринер...

А теперь прошу вас. Вот тетрадь. Тетрадь Анны Илларионны Ардашевой. Прошу читать в очередь и внятно.

Еще два слова. Не удивляйтесь откровенности записей. Они сделаны недавно. Стало быть, друзьям ее уже не грозили кары земные. Не удивляйтесь и тому, что она постоянно возвращается мыслью к Александру Дмитричу: тут отношение особое, сами поймете.

Вот, пожалуй, и все. Читайте. А когда прочтете – продолжу.

Глава первая

1

Занятия в общине св. Георгия кончились, и я, в числе других, получила право на крахмальную косынку сестры милосердия. Хотелось уехать, уехать поскорее.

Пасха в 1877 году выдалась холодная, но последний день Святой был солнечным, с капелью. На станцию Николаевской дороги сестры явились в форменных серых пальто с капюшонами, а начальница наша – в белом апостольнике, как игуменья. Публики собралось немало. Пришли родственники, студенты, офицеры. Нам натащили корзины с лакомствами. Настроение было серьезное, у многих в глазах стояли слезы.

Александра Дмитриевича я не ждала. Мы были недовольны друг другом. Он тянул в деревню, в народ, а я говорила о страждущих солдатах и страждущих братьях-болгарах. Он утверждал, что рабы не могут освободить рабов, что прежде, чем эмансипировать других, следует эмансипировать самих себя, а мне все это казалось ледяной логикой.

Однажды я бросила ему:

– А может, вы попросту трусите армии?

Он взглянул колюче:

– Бывают обстоятельства, когда требуется мужество для «трусости». – И сухо добавил: – Впрочем, если тешит, считайте, что я праздную труса... – И вдруг ухмыльнулся: – А знаете, побольше бы таких – не было б войн...

Поезд тронулся. Скрылся дебаркадер, скрылся Петербург. Стал слышен лязг цепи, соединяющей вагон с вагоном. Черные тонкие перелески то подступали, то отбегали в сторону. У шлагбаумов мужики держали под уздцы лошадей, испуганно задиравших морды. Шли, как по кругу, тусклые снега.

Всякий раз, пускаясь в путь, совершенно независимо от расположения духа или от времени года, всякий раз в поезде, прильнув к окну, я ощущаю безотчетную печаль. Любопытно б спросить иностранцев, испытывают ли они такое там, у себя, или это уж наше, домашнее, русское?

Были ледоходы и разливы, туманы, солнышко, лужи. А вместе с весной, вместе с ледоходами вломилась вторая – после ноябрьской семьдесят шестого года – мобилизация. Говорили, что на призывных участках не замечалось отчаяния, что люди собирались охотно, что крестьяне на своих розвальнях или телегах безвозмездно везли запасных. Готова верить. Но и другое было – то, что высказал на какой-то станции хмурый мужик: «Никто, как бог, а только много народу *попортят!*»

* * *

В Киев мы приехали в сумерках. Из-за неурядиц, вызванных наплывом людей и военного снаряжения, следующего поезда не оказалось. Мы долго ожидали на перроне, разговаривая с офицерами. Уже стемнело, когда нас разместили в Гранд-отеле; там мы и ночевали в последний раз, как «цивилизованные люди». Утром объявили, что мы отправимся дальше лишь поздним вечером. Все собрались в Лавру, на Аскольдову могилу и т. п., а я улизнула и пошла куда глаза глядят.

Прошлой осенью, в Питере, тащились мы как-то с Александром Дмитриевичем в Лесное, где имело быть очередное собрание. Дорога на край города и длинная и медленная, вагончик

конки потряхивало, лил дождь, и Михайлов, призадумавшись, стал толковать о Киеве, о киевских товарищах, о киевской своей жизни. Редко выдавались подобные минуты, а тут и разговорился.

В Киеве я, пожалуй, и не припоминала подробности его тогдашнего, дорогой в Лесное, рассказа, однако меня не оставляло чувство, будто Александр Дмитриевич каким-то чудом тоже очутился в Киеве, и я его сейчас догону, окликну. Конечно, я не сомневалась, что Михайлова в Киеве нет, что если он, как собирался, и оставил Питер, то вовсе не ради Киева. Это я все сознавала отчетливо, но, признаюсь, были мгновения, когда он будто бы мне виделся. Я себя с сердцем одергивала, однако опять ловила на ожидании, притом любуюсь и каштанами, и садами, и кручами, и уличной жизнью, ранней, но уже бойкой жизнью, в которой так и сквозило какое-то лукавое добродушие.

Бродя по Киеву, я, право, не припоминала его рассказ, а теперь пишу, не боясь ошибок, точно бы вчера слышала.

Он явился в Киев за год с небольшим до того, как я впервые увидела Крещатик. На душе у него было скверно. Его изгнали из Технологического института и выслали из Петербурга за студенческую историю, весьма незначительную; вдобавок он и не участвовал в ней толком, а встрял, повинувшись чувству, всегда в нем живому и сильному, – чувству товарищества. «Выехать в двадцать четыре часа на казенный счет и никаких-с пререканий!» – услышал Михайлов из уст официально-учтливового голубого мундира и действительно выехал под надзором унтера с медным шишаком на каске, что и означало «на казенный счет».

Иногородних технологов, выключенных из списков, «возвращали на родину». Александр Дмитриевич родился в путивльском захолустье. Путивль, по его определению, походил на «флаконт с египетской тьмой». Конечно, хорошо полюбоваться Сеймом или погулять на холме, где некогда плакала Ярославна, но жить – тоска смертная, а после Петербурга все равно что и не жить, а разве только дышать.

Путивльский дом оказался пуст: отец-землемер, как всегда, скитался по деревням, а матушка, сестры и младший брат – тот, что теперь архитектор, – все они зимовали в Киеве. Помыкавшись в своих палестинах, где на него, как на замешанного в «историю», поглядывали искоса, Михайлов взял да и махнул, ни у кого не спрашиваясь, на днепровский берег.

Впоследствии, при обстоятельствах мучительных, я узнала семью Михайловых. Мне не трудно представить, как она приняла возвращение сына, «не оправдавшего надежд». Не поручусь, что Александр Дмитриевич не увидел слез, но уж попреков он не услышал.

Но сердце тяготил камень. На отцовские двести рублей серебром в год, на доходец с хуторка близ Путивля не так-то просто, даже при относительной провинциальной дешевизне, взрастить детей, а тут еще прибавился едок. А главное, едок без определенной будущности.

Все это не могло не удручать Александра Дмитриевича. Заботливый сын и старший брат, он серьезно относился к семейным обязанностям. Знаю, что его всегда точила мысль о невозможности помогать семье.

Он, однако, не напрасно устремился в Киев. Работой радикальной мысли Киев не уступал Петербургу, а в некотором отношении, хотя бы бунтарским темпераментом, даже превосходил. Именно в Киеве Михайлов впервые внимательно пригляделся к тем людям, которые народ «возлюбили паче себя».

Тогдашние социалисты делились на последователей Лаврова и последователей Бакунина, это известно. Михайлов вникал в теории, в практику. «Было на что посмотреть, – говорил он, – было что наблюдать». Своим оживлением, своим брожением (конечно, речь об интеллигенции, радикальной и оппозиционной) Киев поразил Александра Дмитриевича. Но он не примкнул ни к одной из групп: партийное дробление казалось ему важным недостатком; следовало думать о сосредоточении сил. Это сосредоточение всегда занимало его мысли...

Долго я бродила по городу, тепло было и тихо, пахло сыростью, но не затхлой, как в Питере, а свежей, приятной; долго сидела над Днепром, сидела, пригретая вешним солнцем, мечтала и замечталась, а о чем и сама не знаю; чудилось хорошее, светлое, доброе, но что именно, опять-таки не умею выразить.

2

В грязном Кишиневе, набитом войсками, нас поместили в здании гимназии. Мы еще не успели дух перевести, как стало известно, что здесь ждут государя с наследником.

Мы знали, что приезд Александра II и будущего Александра III знаменует начало войны; мы знали, что на смотре объявят манифест и тотчас войска двинутся навстречу сражениям, то есть навстречу смертям и увечьям. Все это мы знали и понимали, однако настроение царило праздничное. И мы разделяли его – мы, сестры милосердия, студенты-медики, присланные Москвой и Петербургом, уполномоченные Красного Креста, врачи в черных сюртуках, то есть люди, самая профессия которых должна была бы, кажется, отвращать от походов и кампаний. Да, мы тоже нетерпеливо ожидали пронзительных звуков рожков, исполняющих генерал-марш.

И вот войска начали выходить на Скаковое поле. Мы, не парадующие, а, по-здешнему, по-армейскому, «клеенки», штатские, расположились с таким расчетом, чтобы все получше разглядеть.

День занимался плохо, падал дождь вперемешку со снегом. Люди мокли и переминались; офицеры тревожились, каковы при такой погоде будут «стойка и вид». Время шло, высочайших особ не было. Очевидно, генералы усердия ради вывели полки раньше срока.

Часов уже в десять, точно бы электрический толчок: «Едут! Едут!» Все оборотились в сторону дороги. А там, словно бы и не по дороге, а как бы над нею, стелилась, приближаясь, огромная птица.

Потом мы различили конвойных казаков в алых бешметах, улан и лейб-гусаров. За ними покачивался большой экипаж, запряженный четверкой вороных. Дальше и далеко тянулся хвост карет, составлявших то, что называлось императорской главной квартирой.

Царский экипаж остановился. Государь вышел, к нему подвели каракового коня...

Ребенком я жила на даче близ Павловска. Император ежедневно ездил из Царского Села в Павловск в сопровождении берейтора и черного сеттера; я даже кличку помню – Милорд. Мальчики и девочки в модных тогда красных рубашках «гарибальдийках» поджидали государя и бежали следом. Бывало, он придерживал лошадь, одаривал нас конфетами или, склонившись, щекотал кончиком хлыста, а мы, замерев, любовались игрою бриллиантов на коротком кнутовище слоновой кости; государь, улыбаясь, сказал нам однажды, что драгоценный хлыст – подарок королевы Виктории...

Конечно, теперь, в Кишиневе, я смотрела на этого человека без тени умиления. Я уже знала, что и его отец забавлялся с детьми или просил военного министра назначить пенсион старому солдату, фонарщику Екатерининского парка. Конечно, я давно поняла, что можно одной рукой нежить детей, а другой утверждать жесточайший приговор. И все-таки и те давние, ребяческие впечатления, и впечатления, вынесенные с театра военных действий, как бы мешали мне отождествить этого ласкового, приятного человека (именно этого человека, а не вообще царя, монарха) с чудовищем, загубившим многих из тех, кто был и остался мне дорог.

Я всегда испытывала неприязнь ко всему казарменному, офицерскому, щегольски-армейскому, как к машинальной, нерассуждающей силе, противостоящей народу. Милитаристское увлечение брата Платона было предметом моих насмешек. Однако в ненастный кишиневский день, будто уже повитый пороховым дымом, я была взволнована и растрогана.

Нет, не голосом преосвященного, возвестившего манифест о войне с Турцией, не хором пением «С нами бог, разумеете языци и покоряйтесь...». Нет, не этим, а минутой, когда после диакона, приглашавшего к молитве, после команды: «Батальоны, на колена!» – вся геометрическая, огромная солдатская масса с обнаженными головами начала ряд за рядом клониться, как колосья под ветром, и вот уж весь плац, от края до края, опустился на колени.

Высоко и плотно переплеснули батальонные знамена, и тотчас зашелестела над Скаковым полем тысячеустая молитва.

Поэт видел рабскую Россию, она молилась за царя. Я видела мужицкую, солдатскую Россию, она молилась за себя. Не жизнью вообще, как высшим благом, дорожит солдат, калечество мужику страшнее смерти: «Куда я теперь? На паперть? Какой из меня кормилец?!» Молились не за царя, не об одолении супостата, о другом: да свершится воля твоя, или пореши намертво, или помилуй без изъяну.

Трубачи собственного его величества конвоя протрубили «кавалерийский поход», и лейб-казаки с лейб-гусарами, открывая церемониальный марш, проследовали красивым аллюром. Глядя на них, я совершенно не подумала про Карла Федоровича, приятеля брата Платона. Между тем Кох, наверное, был среди конвойных офицеров. Впрочем, я не подумала даже о том, что брат Платон может участвовать в кишиневском смотре. Правда, последнее его письмо я получила из Одессы, но теперь войска Одесского военного округа, кажется, квартировали в окрестностях Кишинева.

Широкая, пестрая, движущаяся панорама захватила меня. И этот мерный топот множества людей со штыками; и офицеры, по-походному, без орденов, берущие саблех «на караул»; и это согласное тяжелое колыхание тускло-медных пушек на ярко-зеленых лафетах; и кавалеристы в своих синих и голубых мундирах, расшитых желтыми и белыми шнурами. А главное, пехота со скатанными шинелями, с ранцами и мешками провизии, в заляпанных грязью сапогах, с лопатами и кирками, торчащими на боку, пехота, вид которой внятно говорил, что здесь, на Скаковом поле, не парадный, церемониальный марш, а нечто глубоко-серьезное и бесповоротное: «Мы свое дело сделаем».

3

Бархатные воротники из Генерального штаба изобразили Балканскую войну, как стратеги. Те, что носили нарукавную повязку с надписью «Корреспондент», изобразили ее, как журналисты. Мои записи просто ворох впечатлений.

Вскоре после высочайшего смотра войска двинулись к границе. Погода переменялась к лучшему. Люди шли бодро, песельники не ленились.

Близ границы песни умолкли. Шлагбаум был поднят, чиновник пограничной стражи в жалком мундирчике стоял смиренхонько, путь был свободен, а люди... люди медлили. Солдаты, как один, без команды нагибались за горстью земли и, увязав мокрый комок в тряпицу, прятали за пазухой, снимали шапки и крестились.

Боже, сколько мы наслышались и в Петербурге и в Кишиневе о том, что «все предусмотрено» и «все подготовлено». До берегов Дуная предполагался форсированный марш при полном комфорте: продовольственные склады, ломящиеся от припасов; бесперебойная замена павших лошадей; повсеместно исправные мосты; приемные пункты для отставших и заболевших; готовые к услугам почтовые учреждения с телеграфными аппаратами... Короче, нас уверяли, что «все предусмотрено», «все готово» к стройному шествию вослед белому полотнищу с восьмиконечным голубым крестом – стягу нашего главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Старшего.

Добро бы на все это поддались мы, штатские, так нет, и офицеры. Старые и опытные, которые помнили Севастополь или видели Туркестан, хмурились, но либо помалкивали, либо рассказывали молодым о захватывающих ощущениях, которые испытываешь в бою.

Похмелье настигло скоро.

В продовольственных складах хлеб был плесневелый, затхлый, с зеленью; из каравая вырежешь ломоть, и только; вино было разбавлено до такой степени, что уж лучше было бы пить чистую воду; мосты и гати снес или разворотил паводок; квартирьеры куда-то исчезали, никто не знал, где и как размещаться; солдатам, выбившимся из сил, не доставало подвод; обозы вязли в грязи по ступицы. Прибавьте желудочные болезни, прибавьте простуды вследствие переходов через реки вброд или вплавь на лошадях...

А как обстояло дело медицинское, милосердное? Совсем иначе, нежели в прекрасно переплетенных отчетах, всеподданнейше посвященных государыне императрице. Просто диву даешься, перелистывая меловую бумагу этих отчетов, эти таблицы, чертежи, выкладки: вот уж поистине бумага все терпит!

О, Россия! «Входящие», «исходящие», паникадила, наполненные чернилами. Один лишь наш дивизионный лазарет за один лишь семьдесят седьмой год изготовил 12 тысяч «исходящих». Врачи, изнуренные ампутациями и зондированиями, изнывавшие от холода или зноя, обречены были еще и каторге делопроизводства.

Помню, наш хирург на позициях около Плевны в лютую стужу получил очередную порцию запросов из Военно-медицинского управления, вольготно расположенного далеко в тылу. Сжав зубы, он нацарапал огрызком карандаша: «Непрременно отвечу после того, как мы *оттаем* – я и мой пузырек с чернилами».

Незадолго до войны какие-то изобретательные головешки сбыли армии новые госпитальные линейки. Они приятно поражали обилием металлической снасти – винтов, гаек, цепей и цепочек. Свежекрашенные, расположенные в ряд, с грозно задранными толстыми оглоблями, ковчеги производили внушительное впечатление. Правда, шутники предлагали заранее столковаться с турецкими генералами, дабы те позволили нашей армии двигаться только по шоссе-санным дорогам, а то, мол, не ровен час, и эти «крейсера» рассыплется на проселках.

И точно, госпитальные фуры, огромные рыдваны, уже на первых верстах стали терять металлическую снасть и ломаться.

Дальше – хуже. Каждой линейке полагалась четверка лошадей, и лошадей нагнали больше комплекта. Но каких? Разнесчастных одров, бельmistых, а то и вовсе слепых. Как же таким было превозмочь жирную, вязкую, разлившуюся до горизонта весеннюю распутицу? Где им было взять балканские крутизны? Где им было волочить «крейсер», даже и с выносной парой?

Под стать лазаретным лошадям лазаретная прислуга из стариков-запасных. Фельдфебели пытались учить их «по-своему», а в ответ на заступничество сестер милосердия сокрушенно вздыхали:

– Эх, да я об них все руки обколотил! С таким народом никакого маневра!

Должна сказать, что оно вроде бы и впрямь, «никакого маневра». При всем нашем терпении и снисходительности мы, сестры милосердия, нередко приходили в отчаяние от их драк, пьянства, краж, грубого, даже жестокого обращения с ранеными («А тут, барышня, война, – твердили они с каменным упорством, – тут растабарывать неколи, не у тещи...»).

От самых низших перейду к самым высшим.

Некоторое время, накануне форсирования Дуная, госпиталь наш располагался рядом с главной квартирой, то есть обок с центром всего громадного и сложного военного предприятия.

В главной квартире задавались роскошные обеды и ужины. Полковая музыка гремела увертюру из «Карла Смелого», пели солдаты-песельники или румынские цыгане. В глазах рябило от множества «фазанов» – так армейские офицеры окрестили пестро-мундирную челядь великого князя Николая Николаевича.

И все ж в первый период войны не мне одной, а многим, если не всем, главная квартира казалась действительно распорядительным центром, где все знают и обо всем ведают, где наперед и умно все рассчитывают и прикидывают. Ведь чем же иным могли быть заняты эти генералы в лакированных ботфортах и с нагайками через плечо?

Разочарование, горькое и злое, ждало впереди, там, на Балканах, но об этом я, хоть и бегло, еще напишу, а теперь вот что, по-моему, достойно печального внимания. Я про загадку, для меня не разрешимую.

Генералов, лишенных военного дарования, водилось не меньше, чем «фазанов». Оставляю и тех и других в стороне, как предмет бесспорно неинтересный, очевидный и обыденный. Но были и такие генералы, которые достойно выказали себя во все месяцы кампании.

Имя Тотлебена прославилось еще на севастопольских редутах; его появление на плевенских позициях было встречено общим ликованием; авторитет его стоял высоко, непоколебимо; ему верили, на него надеялись все солдаты, независимо от рода оружия.

Гурко иные попрекали за чрезмерную растрату людей. Если это и верно, то нужно прибавить – он и себя ни на волос не щадил. Солдаты любили «Гуркина-генерала».

Ганецкий, командир гренадерского корпуса, был спокойный храбрец. Ему сдался Осман-паша, самый талантливый из турецких полководцев. Ганецкий тоже пользовался душевным расположением, особенно нижних чинов.

Наконец, Дрентельн. Командуя тыловыми войсками, он, кажется, в боях не был, но положил уйму сил на обеспечение действующего войска. И хотя обеспечение шло из рук вон, люди, заслуживающие доверия, никогда не винули лично Дрентельна. Напротив, отмечали его разительное несходство с тыловыми наживалами и жуирами. Он был спартанец и пробавлялся солдатской кашей.

Любопытный штрих. Любопытный как раз потому, что речь о Дрентельне... И в Румынии, а потом и в Турции среди военных потихоньку-полегоньку распространялись нелегальные издания (я еще об этом напишу). Дрентельну доложили однажды о «возмутительных прояв-

лениях», и он, будущий глава политического сыска и политических преследований, отвечал: «Пустьяки, не стоит внимания». А между тем было известно, что сам государь требовал пресечь «возмутительные проявления»...

Война кончилась победой. Однако победу – это не секрет – купили истоками крови, горами пушечного мяса. Офицеры, хоть малость способные размышлять, уже там, на Балканах, полагали, что война обнаружила гнилость нашего домашнего устройства. Офицеры высказывались весьма откровенно. Однако не злорадно, а с горечью. Уверена, генералы, названные выше, думали так же и то же, что и обыкновенные офицеры. А может, и отчетливее.

Вернувшись с поля боя, эти генералы заняли опять-таки посты важные, не только военные, но и государственные. Какая сила подвигла их удерживать и поддерживать именно гнилость домашнего устройства, а вернее, неустройства? И Тотлебена, назначенного новороссийским генерал-губернатором, явившего самую черную жестокость. И «Гуркина-енерала», бывшего одно время петербургским генерал-губернатором, а потом неистовым палачом Польши. И Дрентельна, принявшего Третье отделение, обратившегося в обер-шпиона. И храбрца Ганецкого, который на войне брал вражеские крепости, а потом морил узников Петропавловской крепости.

Было бы наивным ожидать от них перехода «в стан погибающих за великое дело любви». Но ведь и они сознавали (исключая, может быть, «крепостника» Ганецкого, которого годы спустя я встретила у собора со шпилем и архангелом), не могли не сознавать необходимость хотя бы гомеопатического лечения наших внутренних болезней.

Допускаю неверие в успех врачевания. Пусть так. Но почему хотя бы не отошли в сторону? Вряд ли прельщались новыми лаврами – хватало боевых. Тогда, может, не достало мужества отказаться от постов, предложенных с высоты трона? Понимаю, мужество на редутах не тождественно мужеству во дворцовой зале; первое встречается значительно чаще второго. Опять-таки «но»: они прекрасно знали, что следствием отказа не будет ни Нерчинск, ни каземат, ибо был пример сравнительно недавний: генерал Обручев отказался участвовать в подавлении Польши; он не хотел обагрять свои руки в братоубийственной войне. И что же? Обручев остался в прежнем чине и остался в Петербурге.

Помню, пыталась занять своим недоумением Александра Дмитриевича. Насмешливо округлив глаза, Михайлов ответил:

– Эти ваши превосходительства не способны подняться выше точки зрения заурядного пристава. Впрочем, все приставы заурядны...

Нет, увольте, это не ответ, не разгадка. А где они, в чем – не знаю.

4

О, как я была уверена в своей сноровке и как я позорно потерялась...

Да, была уверена: ведь практическому исполнению обязанностей сестры милосердия я обучалась под зорким наблюдением деликатного и вместе неукоснительно строгого автора «Военной гигиены» доктора медицины Кедрина. (Кстати сказать, Дмитрий Васильевич, кажется, находился в родстве или свойстве с присяжным поверенным Кедриним, о котором я еще буду говорить, если закончу свои записки.)

Николаевский госпиталь на Слоновой улице, в ту пору окраинной, я не выбирала. Могли направить и в Морской госпиталь, и в Александровскую или Обуховскую больницы, а вот направили в Николаевский. Это случайное обстоятельство позволило мне сыграть небольшую роль в предприятии, которое наделало шуму летом семьдесят шестого года.

Дело в том, что напротив госпиталя, через улицу, за высоким забором пряталось узкое зданье тюремной больницы для военных арестантов, заболевших во время следствия. В эту больницу и перевели из Петропавловской крепости известного я у нас и за границей князя П.А.Кропоткина.

Александр Дмитриевич, Марк Натансон и другие народники (в ходу еще не было «земледелец») решили устроить ему побег, спасти от каземата, куда Кропоткина непременно вернули бы после больницы.

В подготовке к побегу участвовали многие. Мне поручили «режим ворот»: я должна была определить, когда, в какие часы и по какой причине отворяются больничные ворота, ведущие на довольно широкий двор.

Палата Николаевского госпиталя, находившаяся на моем попечении в дни визитации доктора Кедрина, выходила окнами на эти самые ворота, да и весь двор был оттуда как на ладони. Наблюдательный пункт оказался и удобным и безопасным.

Из окон я нередко видела П.А.Кропоткина. Обряженный в долгополый халат зеленой фланели, он медленно прогуливался по двору.

Я не была посвящена в общий план, не знала и назначенного срока, зато оказалась очевидцем побега.

В последний день июня или в первый июльский я, как обычно, закончила в четыре часа и вышла из госпиталя. Машинально отметила, что ворота тюремной больницы распахнуты; с удивлением уловила бравурные звуки скрипки, доносившиеся из какого-то невзрачного домика; заметила и щегольские дрожки с неподвижным кучером и небрежно развалившимся господином в военной фуражке. В ту же минуту в глазах у меня ярко, почти ослепительно, вспыхнуло.

Никакой вспышки, конечно, не было, мне померещилось, но померещилось не беспричинно: наискось к воротам бежал Кропоткин, а за ним, почти настигая, мчался караульный с ружьем наперевес.

Когда и как беглец очутился в дрожках, я словно бы и не видела, хотя, несомненно, видела. Вороной рванулся, все исчезло... А вокруг уже толпились зеваки. Все без толку гомонили. Мое лицо, наверное, выдало бы меня, вздумай кто-нибудь обратить на меня внимание. Я пошла к вагону конки. К кондукторам подскочил бледный караульный офицер: «Выпрягай! Выпрягай!» Но кондукторы отказались дать ему лошадей...

Так вот, в питерском госпитале я усердно практиковала, но, когда на берегу Дуная, в Зимнице, у первого моего, так сказать, настоящего раненого внезапно открылось кровотечение, я позорно потерялась и бросилась, как дуреха, будить доктора. А доктором был у нас тогда Орест Эдуардович Веймар, тот самый господин в военной фуражке, который увез кн. Кропоткина на своей молниеносной пролетке.

Орест Эдуардович принадлежал к тем, о ком обычно не без зависти говорят: «Все при нем». Он был молод, собою хорош, богат. Не достигнув и тридцати, Веймар пользовался врачебной известностью, уважением коллег и серьезной практикой. Блестящий и остроумный, он дружил с литераторами. Наш кумир Глеб Иванович Успенский был ему близким приятелем. Жил Веймар нараспашку, весело, а бывало, отличался и совершенно мушкетерскими похождениями.

Короче, он слыл «славным малым». Но все дело-то в том, что Орест Эдуардович щедро тратил свою душу и свои средства не у Донона или Бореля. Достаточная иллюстрация – побег Кропоткина; впоследствии у Веймара скрывалась Верочка Засулич.

На театре военных действий Орест Эдуардович, не в пример многим знаменитостям, не отсиживался в главной квартире, а работал в самых опасных местах, на перевязочных пунктах. За переход Балкан зимою семьдесят седьмого года его наградили орденом, а потом он удостоился и высочайшего подарка – портрета императрицы, украшенного бриллиантами. Но все это не спасло, однако, Ореста Эдуардовича от жандармского возмездия – несколько лет назад Веймар погиб в Восточной Сибири...

В ту ночь, когда матросу Лопатину сделалось худо, а я потеряла голову, на выручку явился Орест Эдуардович. Вид у него был свежий, словно бы минуту назад он не покоился глубоким сном, а готовился к очередной визитации. Быстро и как бы даже мельком освидетельствовал раненого, быстро, изящно, словно играючи, наложил эсмарховский бинт. Переконфуженная и восхищенная, я проводила его. В дверях он блеснул улыбкой и пропел вполголоса: «Мадам, я вам сказать обязан, я не герой, я не герой...»

Дата форсирования Дуная хранилась в секрете, но военные секреты, даже и необразишь как, «выпархивают». Мы, конечно, понимали, что нам предстоит, однако до времени жили с бивачной беспечностью.

Но вот вечером тринадцатого июня после пробития зори все затихло будто бы по-иному, не так, как вчера или третьего дня. А в полночь словно бы сползла с места, темная, мохнатая, чудовищная сороконожка: полки двинулись безмолвно, кавалерия мягко пришлепывала по толстой пыли.

Донеслась пальба. Значит, турки заметили наших. Пальба нарастала. Меня окатило дрожью. Где-то мрачно прошумело, потом резко треснуло – разорвалась граната. Мы поспешно разошлись по госпитальным помещениям. Признаюсь, я приняла двойную дозу нервных капель.

Говорили, что форсирование обошлось без больших жертв. Может, и так, но меня поразили наплыв увечных: везут и везут, несут и несут. Совсем немного времени минет, я увижу тысячи несчастных, распростертых на голой земле, услышу стон, зубовой скрежет: «Сестри-и-ица...», увижу и услышу, но уже, слава богу, не испытаю того чувства, какое испытала в то утро.

Искромсанное, очень белое, неприятно белое человеческое тело, обожженная кожа, кровь с ее сырым, острым запахом – они будто багром вытягивали со дна души отвращение, какую-то безотчетную самозащиту, желание отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши. Правда, это отвратительное чувство было быстро побеждено суровой необходимостью немедленно исполнять свои обязанности.

Есть короткое слово: «*надо*». У нас оно обладает могуществом. Надо перейти балканские пропасти – перешли; надо замерзнуть на Шипке – замерзали; надо одолевать турку «заикающуюся» ружьями и неразрывающимися снарядами – одолевали; надо терпеть голод – терпели...

Власть этого русского «*надо*» постоянно ощущалась во всем, что делал Александр Дмитриевич. В московском предместье поздней осенью семьдесят девятого года копали галерею, чтобы заложить под рельсами железной дороги мину и взорвать царский поезд. Михайлов работал в галерее. Позже он говорил: «Слыхали рассказы о заживо погребенных? В подкопе

я восчувствовал, что оно такое. Склизкая глиняная толща, и черви, и вода каплет, и эта физическая тяжесть. Все так и плющит: грудь, череп, руки и ноги. Но я сам себе твердил: раз надо, значит, надо».

В солдатском «надо» есть покорность; «надо» Михайлова заряжалось силой убеждения, как лейденская банка электричеством. Но при всем различии этих «надо» есть и коренное – дедовское, мужицкое. Кто-то из наших, не помню кто, говорил, что дед Александра Дмитриевича был отставным *николаевским* солдатом.

Я знала отца Михайлова. Мы познакомились в Петербурге после ареста Александра Дмитриевича. Отцу Михайлова было тогда лет семьдесят. Выходит, родился он в годину наполеонова нашествия. Следовательно, дед нашего Александра Дмитриевича никак не мог быть отставным *николаевским* солдатом, а был солдатом времен Суворова и Кутузова.

Между прочим, я не умею объяснить ошибку, допущенную самим Александром Дмитриевичем в автобиографической заметке. Я перечитала ее совсем недавно в одном нелегальном издании. Михайлов почему-то указывал, что отец его учился в Лесном институте.

В Петербурге, стараясь хоть немного отвлечь и рассеять удрученного горем старика, я завела разговор о давно минувшем. Отец Михайлова никогда в Лесном институте даже и не числился; он кончил «курс наук» в батальоне кантонистов и стал топографом.

А с материнской стороны, как мне рассказывала – тоже после ареста Александра Дмитриевича – его кузина, Катя Вербицкая, были запорожские удалыцы полковники, храбрые и стойкие. «И от них, – уверяла Катя, – некоторым в нашей фамилии передается способность всецело поглощаться одной идеей...»

Какие бы госпитальные заботы ни одолевали, я мучилась ожиданием известий от Александра Дмитриевича. Я почему-то вбила себе в голову, что если не получу их на левом берегу Дуная, то уж на правом, за Дунаем, и вовсе не дождусь.

Я первая написала ему. Написала из Кишинева, потом из Бухареста, наконец, как ни крепилась, написала из Зимницы. Полевую почту все бранили. Она и вправду заслушивала нареканий, однако кое-как, через пень колоду, а пробиралась к нам. Да и я получила письма от Владимира Рафаиловича Зотова; в первое мгновение, получив эти дорогие мне письма, я испытала досаду и раздражение: я ждала других...

Нет, я и мысли не допускала, что с Александром Дмитриевичем стряслась какая-нибудь беда. Все беды, казалось мне, отныне приключаются у нас и с нами, на театре военных действий, а там, в мирной России, какие там беды.

Спустя годы, когда жизнь, в сущности, прожита, потому что ничего не ждешь и ни на что не надеешься, спустя годы можешь улыбнуться тогдашним терзаниям.

Да, своим девическим подозрениям, пусть и не лишенным оснований, можно улыбнуться сквозь дымку отошедшего времени. Но не улыбнешься, даже грустно не улыбнешься страданиям Ольги Натансон.

Как сейчас, вижу ее, смуглую, стройную, с голубыми глазами; она была, кажется, обрусевшей шведкой. Ей пришлось вынести больше того и сверх того, что «положено» женщине, однажды и навсегда ступившей на дорогу революции.

Еще совсем молоденькой она добровольно отправилась в ссылку за Марком Натансоном, талантливым апостолом народничества. Они обвенчались. У них было двое детишек. Судбина нелегальной заставила Ольгу отправить малюток к родителям. Дети внезапно заболели и умерли почти одновременно. Ольга скрывала свое горе. Один бог знает, чего это ей стоило. Никогда не могла она избавиться от гнетущей мысли, что малютки выздоровели бы, будь материнский уход, материнская ласка.

Я встречала Ольгу на квартире Веры Фигнер, где бывали и Лизогуб, и Осинский, и Александр Дмитриевич; встречала в доме на Бассейной (рядом с домом Краевского, где тогда уже

жил В.Р.Зотов, да и от нашей квартиры, в Эртелевом переулке, неподалеку). Там, на Бассейной, заседали «распорядители» общества «Земля и воля».

Марк Натансон по праву считается одним из учредителей общества, Ольгу следует признать сердцем «Земли и воли», суровым сердцем, недаром ее называли «наша генеральша».

Ольгу все чуть побаивались. А мы, лица женского пола, правду молвить, немножечко недолюбливали. Но, разумеется, и наши сердца облились кровью, когда Натансон попала в крепость. В каторгу она не ушла, а ушла из жизни, сожженная скоротечной чахоткой.

Ольга Александровна и Александр Дмитриевич были самыми яркими, даже самыми яростными сторонниками организации. Однако я с той прозорливостью, какая свойственна известному состоянию, угадала, что глубокая привязанность Александра Дмитриевича к Ольге Натансон отнюдь не исчерпывается совпадением практических партийных взглядов. И, угадав, ощутила «отклик» вдвойне мучительный, ибо я вдобавок казнилась своей ревностью, как позором, недостойным нигилистки.

Надо сказать, одновременно и без колебаний я уверовала в нравственную невозможность для Александра Дмитриевича и Ольги Натансон перейти, как говорится, границы. Она была предана мужу. Не так, как осуждавшаяся нами «рабыня» Татьяна Ларина, а с последней искренностью. А Михайлов чуть ли не с гимназической восторженностью относился к Марку Андреевичу.

Меня-то не обманывали насмешки Михайлова над всяческими «телячьими нежностями». Люди, мало знавшие Михайлова, даже подопревали его в грубоватом цинизме. Между тем, мальчишески боясь фальши, он как бы затенял собственное рыцарски-нежное отношение к товарищам.

Да, я верила в невозможность «перехода границ» для таких натур, как Александр Дмитриевич и Ольга Натансон, но все это, увы, не избавляло меня от позора, недостойного нигилистки.

В Зимнице я не дождалась от него никаких известий.

5

Война разгоралась пуще. Госпитальные будни (если позволительно назвать буднями сплошной кошмар) забирали все мои силы, физические и нравственные. Я думаю, лазарет близ позиций страшнее самих позиций.

Там, на позициях, в длинных шеренгах идущих в атаку, в этих хрупких линиях, то и дело как бы прогибающихся под напором естественного страха, там люди сцеплены друг с другом, там действует и пример командира, и пример товарища, и еще владеет мысль, что если всем погибать, стало быть, и тебе погибать, чем ты лучше других. Под огнем, в атаке орудует громадная коса *общей* смерти, и твое крохотное «я» поглощено артельной участью.

Не то в госпитале.

Раненый, увечный оказывается один на один со смертью. И она орудует в тишине, с глазу на глаз. И если под огнем либо вправду отупеешь и оглушен настолько, что пренебрегаешь смертью, либо истинно храбр, то есть умеешь скрыть страх перед смертью, то здесь, в лазарете, иное. Тут лишь ты да она, твоя смерть...

Помню один вечер; это уж после войны, в восьмидесятом году. Александр Дмитриевич жил в доме Фредерикса, на Лиговке. Мы встретились в сквере. Оба не спешили: нас нигде не ждали – случай редкий; решили попросту пофланировать, погулять, как фланируют и гуляют молодые люди, – это ведь потребность молодости.

Недавно отошел ладожский лед. Петербург, как всегда после ледохода, казался огромнее. Уже смеркалось, и сумерки тоже казались просторными и чистыми. Мы шагали молча. Было хорошо и немножко грустно. Такая легкая, как дымок, грусть; она по-моему, непрременная спутница полноты счастья.

Потом разговорились. О чем-то, должно быть, незначатем, пустяковом; и опять-таки в самой этой пустяковости присутствовала именно полнота счастья.

Я хоть сейчас укажу тот угловой дом. В первом этаже, уже освещенном, мальчик плющил нос на оконном стекле, медленным пальцем выписывал кривули... Александр Дмитриевич вдруг заговорил о смерти. Не элегически, не мрачно, не философски. И не с беспечностью молодости. Нет, очень спокойно, очень деловито.

Он говорил о смерти тех, кто повторяет латинское: «Умрем за нашу царицу!» (в данном случае «царицей» не Наука, а Свобода). Он говорил, что и нам не избежать мучительной борьбы с могучим инстинктом самосохранения, но каждый из нас *обязан* подавить его на воле, чтобы в каземате, на эшафоте душа была готова и оставалась лишь телесная материальная борьба.

Я часто думаю об этом теперь, когда Александра Дмитриевича давно нет на земле, и мне кажется, что за его деловитым спокойствием стояло представление о смерти, как о таинстве. Ибо сказано: «Чтобы и жизнь открылась в смерти плоти...»

И все-таки в *готовность* «вкусить смерть» я не верю. На войне многие умирали стойчески. Не равнодушно, не покорно, а именно стойчески. Но душа, бедная сиротеющая душа, билась и трепетала во мгле тоски, для которой в языке нашем нет слова страшнее и нет слова проще, чем тоска *смертная*. В госпитальных бараках последняя материальная, телесная борьба была обыденностью, но к темному, сухому шелесту этой тоски привыкнуть было невозможно.

А к остальному, пожалуй, привыкаешь.

И к тому, что раненые – прикрытые шинелишками, коржавыми от пота и крови, они кажутся обрубками – раздражаются воплями, проклятьями, грубой площадной бранью. И к гнойным поражениям, над которыми даже задубелый военный лекарь не в силах склониться без крепкой сигары в зубах, а ты не разогнешься, пока не очистишь, не промоешь, не перевяжешь. И к каторге операционной, когда доктор, без мундира, с закатанными рукавами рубахи,

в жилете и кожаном переднике, залитом кровью, как на бойне, выходит, шатаясь и садится, уронив голову и руки, а ты продолжаешь сновать, как челнок, кипятить инструмент, таскать тазы с теплой водой, сносить в сторонку ампутированные руки и ноги.

Захоронение ампутированных конечностей поднимает жуткое, знобящее чувство. Могильная яма, священник в облачении, с паникадиллом. В яму вываливают из рогожек почерневшее, скрюченное, крошечное. Человек-то еще жив, а «часть» его уже погребают...

6

Александр II посещал госпитали. Он утешал раненых, крестил, целовал. Лицо его собиралось тяжелыми, нездоровыми складками. Я видела не раз, как он плакал, склонившись над увечным солдатиком. В те минуты он не был самодержцем, властелином, императором, владыкой, а был старым человеком, потрясенным видом страдающего.

Это свое впечатление я высказала впоследствии Александру Дмитриевичу. Глаза Михайлова заблестели мрачно. Он процедил: «Эх, и крепко сидят барские сантименты!»

Но дело не в сентиментальности. Для солдат посещение царя всегда было моментом навечно памятным. Говорю как о непреложном факте, хотя очень хотелось бы подметить иное, если и не совсем противоположное, то пусть бы и в малой дозе иное. Но тут наблюдалась патриархальная, детская, наивная доверчивость и надежды, какие еще долго не избыть нашему народу. Солдат мог ругательски ругать (и ругал) и своего полкового командира, и генералов, кого угодно, включая великих князей, да только не государя. В солдатском представлении царь не был причастен к несчастьям, которые выпали на солдатскую долю. Напротив, царь был единственной надежей. Недостигаемой, почти неземной, но единственной.

Я не разделяла до конца убеждения товарищей в том, что физическое устранение царя непременно вызовет всероссийский бунт, инсurreкцию, революцию, ибо была свидетельницей преданности и восторга, неизменно возникавших при появлении государя не только в госпитальном бараке, но где-нибудь на дороге, перед каким-нибудь полком, идущим на смерть и сознающим, что его ведут на смерть.

Вот от этого-то и нельзя было отмахиваться. А вовсе не «барские сантименты»...

При госпитальных визитах государя сопровождали свитские. Кстати сказать, среди прочих генерал-адъютантов находился и Мезенцев, шеф жандармов. В его бледной физиономии не было ничего инквизиторского, а была, скорее, некая двойственность – и бонвиван и святоша. Удивительно, меньше года минуло, и я, прогуливаясь по Питеру с Александром Дмитриевичем или с Кравчинским, «показывала» им Мезенцева, удостоверять его личность, чтобы не вышло ошибки...

Однажды в царской свите оказался некий полковник-артиллерист с флигель-адъютантским жгутом на мундире. Владелец бородки *á la* Наполеон III, он, казалось, выпорхнул из гостиной. Кто-то, обращаясь к нему, произнес: «Послушайте, князь», и у меня не осталось никаких сомнений – столичная штучка.

Государь, задержавшись у койки одного из раненых, подозвал полковника:

– Мещерский, а этот не твой ли?

Его сиятельство поспешно выдвинулся вперед, несмотря на тесноту и неудобство, очутился слева от государя, ибо ведь это так принято – держаться по левую руку от важной особы.

– Да, ваше величество, – ответил князь.

Государь кивнул и двинулся дальше, увлекая за собою свитских, а князь сел в ногах раненого, о чем-то расспрашивая и машинально оправляя одеяло.

Потом Мещерский подошел ко мне и с поклоном представился. Я тоже назвалась.

– Позвольте, позвольте... Вы – Ардашева? По батюшке – Илларионовна?

Я подтвердила.

– В таком случае, – с живостью воскликнул князь, – я имею удовольствие служить с вашим родственником!

В тот же день я обняла брата Платона. Разминулись и в Кишиневе, и в Зимнице, разминулись бы и теперь, когда бы не Эммануил Николаевич Мещерский.

Он приезжал по приказанию государя всего на несколько часов. Не знаю, зачем и для чего, вполне вероятно, по некоторым, так сказать, семейным делам: Мещерский приходился

государю словно бы родственником, будучи женат на сестре той особы, которая... Впрочем, об этом в своем месте.

Итак, Эммануил Николаевич свел меня с братом Платоном. Платон служил под командой князя Мещерского в первой батарее 14-й артиллерийской бригады. Бригада входила в состав 14-й пехотной дивизии, начальником которой был поныне здравствующий генерал Драгомиров.

Брат внешне не переменялся, не исхудал, не осунулся, разве что загорел. Увы, я должна попрекнуть природу в несправедливости; во всяком случае, со мною она обошлась несправедливо, потому что я вышла в нашего покойного батюшку, а брат удался в нашу мамулю. Ну и получился братец на славу, а сестричка так себе.

Платон был красавец. Он это знал и этим пользовался, легко покоряя сердца слабого пола. Он был на три года старше меня; девочкой я любовалась братом, но потом меня стали раздражать его манеры записного сердцеда.

Не изменившись внешне, брат как будто несколько изменился внутренне. Начать с того, что он, хотя и не без гордости, объявил о своем производстве в штабс-капитаны и о Станиславе с мечами и бантом, но упоминание было «скользящим», а гордость приглушенной, словно бы мерцало Платону: «А-а, полноте, все это, в сущности, пустяки...» В этой задумчивой сдержанности было нечто повое, непетербургское.

Дивизия Драгомирова первой форсировала Дунай и первой оказалась лицом к лицу с неприятелем.

– Понимаешь ли, – рассказывал Платон, – под ложечкой-то екало. И во всем теле предательская слабость. Похоже... Нет, ей-богу, будто кадетом накануне экзамена, не смейся. А потом нарастает напряжение, тяжелое и вместе колючее – окаянное ожидание кусочка свинца, предназначенного тебе, именно тебе, а не кому-то другому. А вперемежку с этим – злоба. Эдакое непостижимое чувство озлобления... – он помолчал, покурил и продолжил: – А знаешь ли, у меня с приятелем... это еще в первые дни было... у меня со штабс-капитаном Пестовым завязались однажды «кошки-мышки». Стреляли с левой стороны, так и пришлепывало, так и жужжало. И вот, представь, каждый из нас норовил прикрыться другим, то есть идти с правой стороны. Мы оба, черт возьми, отлично понимаем и стыдимся, а вот никак, хоть убей, не умеем совладать с собою. Когда стрельба кончилась, мы переглянулись да и покатались со смеху... Вот тут и пойми! Но возникает и другое, совсем другое. Я вот о чем. Ты знаешь, у меня в приятелях никогда недостатка не было, я приятелей люблю... Но тут другое, тут, видишь ли, теплое, прямо-таки родственное, всех-то тебе жаль, все тебе близки. Славно, Аня... И не только к своему брату офицеру, нет, и к святой серой скотинке. Заметь, «святой» – это наш Драгомиров добавил. Признаюсь, бываю крут, вгорячах чего не случится. А ведь прощают. Солдат, он одного не прощает – мелочного педантизма. А нас-то, вот таких, как я, все больше на мелочное педантизм натаскивали...

Зашла речь о князе Мещерском. Я сказала, что первое мое впечатление было далеко не в пользу его сиятельства.

Платон рассмеялся.

– В бригаде тоже... Ты заметила, как он изъясняется по-русски? Точно бы и не русский. Ему по-французски легче... Назначили его недавно, в прошлом ноябре. Все на него косились, прозвали: «Пале-рояль». А теперь только и слышишь: «О, настоящий русский человек!» Нам каждому поверкой – дело, огонь, позиция. А там-то Эммануил Николаевич не просто храбр, а поразительно храбр. Будто и не гремит, не жужжит вокруг. Да и не это главное... Храбрецов не занимать стать. Нет, он молодцом дело делает, наперед обо всем заботится, обо всем успеет подумать. Духами прыскается? Э, возьми Скобелева, на что генерал, на что воин, а фронт из франтов: непременно это он в белом как снег мундире, рыжие бакенбарды волосок к волоску, будто сейчас от куафера...

Оказывается, Мещерский находился в службе с восемнадцати лет. (Когда я его увидела, ему было далеко за тридцать, а может, и все сорок.) Начал он унтером на Кавказе, и там, в кавказских битвах, удостоился самой подлинной из наград – знака Военного ордена. Потом долгие годы был военным агентом в разных миссиях и посольствах. Платон говорил, что Мещерский – обладатель иностранных крестов, а в годину франко-прусской войны получил золотую саблю за храбрость.

Знакомство с Э.Н.Мещерским принадлежит к самым светлым моим воспоминаниям о войне, бедной светлыми воспоминаниями. А знакомство наше не оборвалось первой встречей, потому что я добилась перевода в лазарет, приданный драгомировской дивизии.

Кто был на войне, помнит разительное несходство госпиталей Красного Креста и лазаретов военного ведомства. Они отличались почти так же, как великолепные, но немногочисленные санитарные поезда, снаряженные императрицей или на пожертвования городов, отличались от многочисленных «телячьих» и прочих эшелонов для эвакуации. (Эти слова – «телячий» вагон, «эвакуация», «эшелон» – я впервые услышала на войне.)

Попасть в госпиталь Красного Креста было мечтою всех раненых, мечтою, увы, редко осуществляющейся, ибо при всем старании Красный Крест не мог принять громадного числа «желающих». Госпитали Красного Креста были богаче, лучше, чище лазаретов военного ведомства. Последние вечно мыкались, как приживалки. Да еще и подвергались беспардонному интендантскому грабежу. (От него, впрочем, не было спасу и боевым действующим частям.) Я бы упекла в нерчинские рудники того мудреца, который отпускал для дивизионного лазарета четыре фунта гигроскопической ваты на четыре месяца! Вы только вдумайтесь: по фунтику на месяц! Да одна настоящая перевязка возьмет куда больше. Или вдруг раскошелятся и пришлют несколько пудов рыбьего жира вместо... хлороформа. Или гуляет дизентерия, а ты не допросишься опиума. И так далее и тому подобное. Конечно, Красный Крест, как мог и где мог, выручал казенные лазареты, да ведь на всех не напасешься. Короче, в казенных лазаретах такая была мука и для больных и для медиков, что слов не хватает.

7

Батарею Мещерского... Я не запомнила – первая батарея 14-й артиллерийской бригады, – но я называю ее батареей Мещерского, ибо так, только так, а не номером именовали ее солдаты, что справедливо считалось высшей степенью солдатского признания и солдатской признательности... Так вот, батарею князя Мещерского, а стало быть, и самого Эммануила Николаевича и брата Платона, бывшего на батарее старшим офицером, я нагнала в канун выступления к вершинам горы Св. Николая.

Гора Св. Николая – это, собственно, три главы, три седловины. Дивизионный лазарет расположился за третьей, а за первой поместился перевязочный пункт.

Бои завязались без промедления. Сломив великодушие старшего врача, я отправилась на перевязочный пункт, поблизости от батареи Мещерского, в лесок, где находились лишь санитары и болгары-добровольцы, вызвавшиеся помочь.

На Шипкинском перевале, на горе Св. Николая, я научилась различать какофонию огня. Если картечь, то будто зашаркает веник по мостовой. Бомба басит и повизгивает, а потом, приблизясь, вдруг и взвывает. А пули... Говорили, что опытный военный различает пение пуль еще в полете: какая перевернулась, а какая с изьяном, со свищем. Я знаю только, что удар пули звучит каждый раз по-разному. Если в скалу, в камень, то звук тупой и твердый, будто классная дама пристукнула об стол карандашом. Если в каменистую землю, то слышишь шорох, будто на крахмальную скатерть просыпала сахарный песок. А если угодила, попала, не промахнулась, тогда словно бы кто-то приложил палец к губам и произнес: «Тсс...»

Ненавижу войну, а должна сознаться – в боевом деле есть темный азарт. Ты вроде забываешь, что оно, это боевое дело, несет смерть, несет страдания тебе подобным. Хуже того, перехватывают безумные минуты, когда мстительная мысль, что несешь смерть и страдания, словно бы обдаёт сухим пламенем, и тебе это приятно.

Подходишь к расположению батареи Мещерского. У коновязей четверики и шестерики. Рядом орудийные передки, зарядные ящики. Часовой не с ружьем, как у пехотных, а с обнаженной саблей. Слышишь грохот, крики, чуешь кислую вонь порохового дыма.

А вот и сама батарея.

Унтер-наводчик вспрыгивает на орудийный хобот, упирается прищуренным глазом в целик, ерзает вправо, влево и слабо, даже как бы капризно, помахивает кистью руки – указывает, куда подавать. Потом наводчик уступает место офицеру, а сам стоит рядом с видом скромным и достойным, как человек, хорошо исполнивший свой долг.

Офицер с биноклем, быстро оценив точность наводки, бойко кричит: «Пли!» И вот уж прислуга отскакивает в сторону. Пушка рывкает, приседает и откатывается, звеня и лязгая. Артиллеристы, вытянув шеи, медленно сгибаясь, чтобы не застил дым, следят, где разорвется. Раздаются возгласы: «Чистая отделка!», «Важно!», «В середку угодила!»

Но война отнюдь не ажитация, когда артиллерийский офицер при сабле и пистолете командует: «Пли!», или генерал, махнув перчаткой, молодецки приказывает: «Музыка, вперед! Развернуть знамя!» Война – ломовая работа. Полк окапывается, вгрызаясь в камень. Батарейные заняты утолщением брустверов. Укрепления требуют ежедневных исправлений. Надо добыть лесной материал – колья, брусья. Надо волочить их на позиции, волочить под выстрелами. Наступают холода, туманы, дожди – необходимы землянки... Бессонные ночи, арестантская зябкость траншей, грязное белье. Лихорадка, дизентерия, мириады вшей, вонь неубранных трупов, вонь испражнений...

Иногда вечерами я заглядывала на огонек к брату Платону и кн. Мещерскому. Эммануил Николаевич, немало повидавший на своем веку, был занимательный рассказчик. В его рассказах открывалась жизнь придворная и дипломатическая. А мы сидели у огня, кто набросив

полушубок, кто пальто или шинель, сидели посреди скал, траншей, брустверов, окруженные туманом, тьмой, сыростью, неизвестностью, и с жадностью слушали князя.

Мещерский, пощипывая бородку, говорил о прусском короле, теперешнем германском императоре, о том, как он, Мещерский, ни за что ни про что получил датский офицерский крест и нидерландский офицерский крест, как ездил в Швецию и каков был некий генерал Леббеф, с которым дружил наш рассказчик.

Все это должно было бы здесь, на театре военных действий, представляться донельзя мишурным, пустым, никчемным, а между тем, повторяю, мы слушали с жадностью. Не оттого ли, что все, рассказанное князем, было бесконечно далеким? Не потому ли, что всем нам хотелось забвения, пусть и краткого?

В ночь на пятое сентября я была на биваке, у брата Платона. Только что пришла долгожданная почта, как всегда, разворошила в душах минувшее, невоенное, домашнее, и на биваке там и здесь возникали те особенные доверительные беседы, которые бывают только у военных вблизи неприятеля или у заключенных на долгом этапном пути.

Эммануил Николаевич, тихо светясь, говорил о жене и детях. Летом они жили в Царском Селе, зимою – в Петербурге. Жена нашего полковника была урожденной кн. Долгорукой. Она была из тех княжон, что не располагают приданым, ни недвижимым, ни банковским. (Впрочем, таким же был и Эммануил Николаевич). Женился он вскоре после того, как Мария Михайловна вышла из Смольного. Эммануил Николаевич показал миниатюру, изображавшую довольно милостивую блондинку. И вдруг, поскуцнев, попросил меня и Платона похоронить его вместе с этой миниатюрой, а медальон с локоном, висевший у него на груди, возвратить Марии Михайловне.

Словом, разговор принял печальный оборот, и, если бы он случился неделю, даже несколькими днями прежде, я бы его вряд ли упомянула, но все дело в том, что происходило он в ночь на пятое сентября.

В эту ночь наступила тишина. Совершенная и удивительная тишина, когда слышишь шорох тумана. И по мере приближения рассвета она не только не нарушалась, а становилась еще глубже и полнее. Мне дали провожатого, и я отправилась в лес, на перевязочный пункт.

Спустя часа полтора турецкая гвардия начала общий штурм горы Св. Николая. Взвизгивая «алла! алла!», турки бешено ворвались в наши передовые ложементы и обрушились на батарею Мещерского.

В самом начале сражения Эммануил Николаевич был убит. Пуля попала в сердце, он не мучился и мгновения. Но солдаты все-таки принесли полковника на перевязочный пункт. Я накрыла его лицо платком. Солдаты постояли, перекрестились, надели шапки и ушли назад, на батарею.

Есть странность, которую испытывают, очевидно, лишь на войне: убьют человека тебе близкого, а ты поначалу не ощущаешь никакого потрясения, разве что тупое недоумение, да и то недолгое. И лишь потом, минет время, заноеет, заболит, затоскует сердце.

8

Транспорт – это десятки, сотни повозок. Похожие на громадные сундуки без крышек, с трухлявой подстилкой, гадкой и дворовому псу, с намазанными осями, они издавали невыносимый, бесконечно долгий скрип, который, мешаясь со стонами, наполнял окрестности характерным гулом.

Транспорт приближается к госпиталю. Госпиталь переполнен. Мест нет, медикаментов нет, махорки нет, носилки заняты, самовары распаялись, кипятка нет; хирургический инструмент давно затупился, зазубрился. Доктор, в замызганном платье, небритый, измученный, хрипло осведомляется: «Сколько всех?» Услышав ответ, он с минуту только сопит.

Дождь, ветер, тучи. Из бараков шибает карболкой, испражнениями дизентериков. Не знаешь, который день недели. Куришь, куришь. (Многие, почти все сестры милосердия, я в их числе, пристрастились к табаку.) Впрочем, одно чувство есть: раздражения. И против раненых, и против коллег, и против этого дождя, этих туч, против всего на свете.

В одну из таких минут я увидела щуплого, с жиденькой бородкой человека, одетого в брезентовую епанчу и брезентовые шаровары, заправленные в сапоги. Он орудовал широкой лопатой. То был студент, по фамилии, кажется, Маляревский. После войны, в Петербурге, я спрашивала о нем, но так ничего и не узнала; возможно, он не был питерским студентом.

Маляревский спасал и госпитали и целые городки, переполненные войсками и ранеными, от повальных эпидемий: он добровольно занимался уборкой нечистот. Администрация не давала ему ни подвод, ни рабочих рук, Красный Крест ссужал грошами, но Маляревский как-то изворачивался. И я утверждаю, что поступок Маляревского был поистине героическим, хотя со мною наверняка не согласятся чиновники наградного стола главной квартиры...

Я оказалась в гужевом санитарном транспорте, а затем и в санитарном эшелоне после того, как уполномоченный Красного Креста, посетивший Шипкинский перевал, нашел, что сестру милосердия Ардашеву пора забрать из лазарета 14-й пехотной дивизии.

Я согласилась сразу, согласилась с радостью! Правда, совесть оскалила остренькие зубки, но я сказала этому грызуну: «Послушай, вернись, ей-богу, вернись, а сейчас уволь, нет сил, ни телесных, ни душевных». Впоследствии я вернулась на Шипку, это правда. Но, умасливая свою совесть, я ни на волос не верила, что вернусь, это тоже правда.

В начале кампании, двигаясь к Дунаю, наши полки обтекали Бухарест, едва затрагивая окраины. Теперь, доставив раненых в Бранкованский госпиталь, я могла осмотреться. Впрочем, «осмотреться» – звучит как из записок вольного путешественника, лучше сказать – я озиралась.

Было странно видеть собственное отражение в зеркальных стеклах магазинов, фиакры, запряженные свежими и холеными лошадьми, а не загнанными или запаленными, видеть людей чистых и улыбочивых, а не сумрачно-сосредоточенных, слышать речь о каких-то обычных предметах, ступать по ровной мостовой, меняющей твою походку, вдыхать приятный запах кофейни или глядеть на Дымбовицу, которую не надо форсировать, а можно спокойно перейти по одному из мостов.

При мне в Бухарест вступил полк гвардии, призванной на театр военных действий в качестве панацеи от плевненских и прочих неудач. Какой именно полк, не помню, кажется, гренадеры.

Офицеры рассыпались по городу, эдакие свеженькие, беспечные. Я испытывала неприязнь, даже, пожалуй, легкое злорадство: «Э, погодите-ка, соколы, хлебнете лиха».

Ну, а пока эти сабельки бренчали на улице, слушали повсеместно в Румынии распространенный романсик «Ich bin der kleine Postillon»² – или, входя в кафешантан, весело осведомлялись у старшего в чине: «Разрешите остаться?»

По-иному вели себя офицеры, командированные по каким-либо делам с театра военных действий. В их кутеже была забубенная торопливость. Они пили жадно, будто задыхаясь, нахлобучивали свои фуражки на случайных подружек, стаскивали с плеч походные сюртуки и оставались в одних сорочках.

Бухарестские дни запечатлелись бы в памяти вот только такими чертами, если бы я не встретила Розу Боград, а она не свела меня с Анной Корба.

Михайлов утверждал, что в целой толпе барышень и женщин нетрудно отыскать участниц революционного дела. Это очень просто, говорил Александр Дмитриевич, стоит только внимательно присмотреться. У наших, объяснял он, другая походка, жесты, движения – энергия, бодрость, особенная эластичность. А все прочие – квелые (он так и сказал: «квелые»), не ходят, а семят; и главное, у наших одухотворенность, а у тех кисейная экзальтация и жеманство.

Михайлов был наблюдателен, равномерно приметлив и к квартирным хозяйкам, и к кучерам, и к топографии местности или города, и к товарищам, и к недругам. То было врожденное чутье, хотя Александр Дмитриевич и настаивал, что подобное чутье может и должен выпестовать в самом себе каждый нелегальный.

Вот и в этом случае, общее схватил он верно. Однако всех в одни скобки не заключишь. Вздумай Александр Дмитриевич применить свой «закон» к сестрам милосердия на театре военных действий, он бы чуть ли не каждую причислил к революционеркам – обстоятельства, род деятельности придали им как раз те внешние признаки, о которых он говорил.

Принадлежала ли Роза Боград к типическим фигурам – не припоминаю. (Зато помню, как задело меня ее сочувственное: «Ох, и переменялась ты!») Не скажу, была ли она уже тогда женою Плеханова, с которым теперь в эмиграции, но, несомненно, они знали друг друга, как оба знали и Александра Дмитриевича, и меня: мы были, что называется, одного круга.

Увидев Розу Боград, я ощутила, как давно оставила Россию. Минули месяцы, а мне казалось – годы. Есть свойство времени тюремного: быстролетность и вместе невероятная протяженность. Тоже, как ни странно, на войне.

Об Александре Дмитриевиче Роза только и могла сообщить, что он, как и Жорж Плеханов, где-то на Волге, скорее всего в окрестностях Самары или Саратова. Признаться, я готова была сто раз переспрашивать и сто раз выслушивать все о том же.

Розина комната при старинном госпитале была обыкновенная, даже бедненькая, но разве не блаженство, когда можешь затворить дверь и остаться наедине с собою? Не блаженство ль разуться и ощутить под ногами не острый холод каменистой земли, а чистые половицы? И не блаженство ли пить чай, слушая вполуха неотвязный шум вечернего дождя и зная, что тебя не позовут в темень и непогоду?

Ничего-то мне не хотелось, а только вот так сидеть у этого стола, покрытого скатертью, за столом с чаем, конфектами и печеньем – настоящее пиршество, – сидеть, подперев щеку ладонью, и не прихлебывать чай, торопясь и обжигаясь, а пить мелкими-мелкими «домашними» глотками...

Поздним вечером постучали. Вошла молодая женщина. Роза нас познакомила. Анна Корба, сестра милосердия Благовещенской общины, служила в санитарном поезде, доставлявшем раненых из Бухареста к русской границе.

Дочь статского генерала и супруга инженера Корба, швейцарского подданного, Нюта в ту пору была легальной. Но ее симпатии и антипатии уже определились. Минул сравнительно краткий срок, и она, разорвав с мужем, сделалась нелегальной, заняла выдающееся место в

² «Я маленький почтальон» (нем.)

партии. Она пылала таким вдохновением, что у нас говаривали: мы действуем, Нюта священнодействует.

Александр Дмитриевич питал к ней глубокую приязнь. Это давало повод подозревать экстраординарные отношения. Может быть, я еще расскажу...

Я уже писала, что Михайлов чрезвычайно ценил товарищество. Друзья составляли организацию; организация состояла из друзей. Тут была слитность. Но именно Нюте, именно Анне Павловне Корба он открывал такое, чего не открывал и Желябову, уж на что они были близки.

В начале восьмидесятого года Нюта жила неподалеку от Сенной площади, на Подьяческой. У нее хранилась часть «небесной канцелярии», часть паспортного стола «Народной воли», и Михайлов, постоянно озабоченный благонадежным устройством нелегальных, часто наведывался к Нюте...

Было уже за полночь, когда Роза извлекла из чемодана нелегальную литературу. Я удивилась. Это было странное удивление. Война поглотила меня и оглушила, и мне представлялось, что и там, вне театра военных действий, тоже все поглощено войной. А тут – литература, нелегальные издания, нечто из другого мира. И вот – удивление, чувство очнувшегося человека, который не вмиг смекает, где он и что он.

Я должна была бы, кажется, ощутить жажду печатной строки, нетерпение к революционным новшествам. И опять-таки странность! Не апатия, совсем не то, а такое внезапное сознание растраты собственного нервного капитала, что я не нашла в себе охоты к чтению. И лишь на другое утро, когда Роза с Нютой отправились на склад Красного Креста, на громадном дворе которого, заваленном ящиками и тюками, постоянно кипела работа, лишь тогда я принялась за чтение.

Запрещенной, недозволенной была эта литература только для нас и у нас, только для русских и в России, но не в Румынии и не в Турции. Ярмо русского деспотизма давило тяжелее даже ярма турецкого, а уж последнее в целом свете рекомендовалось варварским.

В Румынии расейские жандармы пытались пресечь распространение революционной литературы. Казалось бы, чего проще, если взять в расчет союзничество, а сверх того и присутствие в слабосильной стране русской армии? И однако, «голубым» указали на дверь, заявив, что подобные запрещения противоречили бы конституционным установлениям. (Тут было над чем призадуматься нам, социалистам, в ту пору отрицателям конституций!)

В пределах Турецкой империи «предерзостные книжонки» тоже никто под полу не прятал. В Сан-Стефано, например, их получал каждый посетитель ресторации Боске, популярной у наших офицеров.

Одно плохо, а главное, непоправимо: эмигранты, издатели, и поставщики нелегального, не посылали ничего, предназначенного армейской публике. Правда, солдатская масса, насколько знаю, чуралась печатного слова (исключая Евангелия, особенно в госпиталях), чуралась и спешила предоставить «по начальству», то есть поступала так же или почти так, как и деревенские простолюдины. Это верно. Но следовало бы адресоваться к офицерам, писать о той роли, которую и может и должна сыграть вооруженная сила в коренном обновлении России. Уверена, семена падали бы на благодатную почву; может, еще более благодатную, чем молодое, необстрелянное офицерство, из которого чуть позже рекрутировались наши подпольные военные кружки. Однако никто не заботился ковать железо, когда оно было не горячим, а прямо-таки раскаленным.

Несмотря на явное нежелание румынских властей потворствовать русской жандармерии, мы соблюли некоторую конспирацию, начиная мой багаж «преступной» литературой.

Я бралась доставить ее на родину в своем санитарном эшелоне. Военные поезда не подвергались таможенному досмотру, однако не следовало наводить «голубых» на след. Тем паче что «хвост» вполне мог увязаться за мною и там, в России, обнаружить наши связи.

Как сестре милосердия, мне полагался бесплатный провоз до трех с половиной пудов багажа. Мое имущество не тянуло и полпуда, и я «по праву» хотела загрузиться нелегальным.

Роза отправилась в какую-то кофейню, куда вечерами навещался эмигрант, болгарский революционер Любен Каравелов. Вернувшись из кофейни, она сообщила, что Каравелов охотно согласился припасти необходимую нам литературу и что мы получим ее из рук в руки, не привлекая стороннего внимания.

Помню улицу Мошилор, в конце ее – дом; на пороге встретил нас высокий, худой, сутулый, темноглазый человек в просторной синей блузе. В лице, широколобом, с желтизной, мне почудилось отдаленное сходство с татарским типом, и на минуту мелькнул Владимир Рафаилович Зотов, хотя борода у Каравелова, не в пример зотовской, росла пышно.

(13 Петербурге я рассказала о своем впечатлении В.Р.Зотову. Владимир Рафаилович, смеясь, заметил, что у него от предков татар «уцелела» разве что реденькая борода, а когда бороду он брил, то даже сам Лафатер не «учуял» бы в нем татарской крови. Что до Каравелова, то Зотов, оказывается, во времена оны состоял с ним в переписке: Каравелов, живший тогда в Сербии, искал заработка и хотел сотрудничать в русских газетах.)

На другой день я перебралась в военно-санитарный поезд. Он состоял из вагонов, которые начальство, со свойственным ему остроумием, называло «приспособленными». Если они и были приспособленными, то для скота, в них скот и возили. Вагоны не сообщались друг с другом, как пассажирские, и врач не появлялся до очередной остановки. Да к тому же всем – и раненым и персоналу – доставалось от крутого произвола начальника транспорта, взбалмошного и пьяного ротмистра.

На границе мы получили депешу, согласно которой эшелон следовал в Саратов, где эвакуированных ждали палаты и бараки земской больницы.

В Саратов! Пусть и две почти тысячи верст, но ведь в Саратов, на Волгу! Я и надеялась, и не надеялась увидеть Александра Дмитриевича. Надеялась, потому что приключаются чудеса. Не надеялась, потому что чудес не бывает.

Глава вторая

1

Вы спрашиваете: что дальше? Продолжение есть, оно будет. Но теперь позвольте мне. А то ведь какая диспозиция получилась? Вас, читая, занесло с Анной Илларионной в конец семьдесят седьмого года. А ваш покорный слуга Зотов остался со своим героем в метелях семьдесят шестого. Надобно соединить нитку...

Я говорил, что впервые увидел Михайлова в Эртелевом, у Анны Ардашевой, это в канун ее отъезда было. Особенного впечатления молодой человек на меня не сделал, и я несколько не держал на уме, что мы еще встретимся. Не то чтобы не хотел его видеть... Отчего? Занятно молодых наблюдать... Нет, просто какая могла случиться доука у него ко мне, а у меня к нему?

Однако случилась. И весьма неожиданная.

Видите ли, Аннушка, чтоб меня, ветхого человека, поднять в глазах своего друга, Аннато Илларионна возьми да и похвастань моей библиотекой. Вот, дескать, обладатель истинных сокровищ. Оно и верно – обладатель. Сами извольте видеть. А это еще не все, в других комнатах – до потолка. Тут и наследственное, от батюшки, тут и благоприобретенное. Уж на что Благосветлов... (А тот, который поставил «Русское слово» и «Дело».) Уж на что знаток и ценитель, не плоше Лескова, а и Благосветлов, бывало, позавидует: «Библиотека у вас, Владимир Рафаилыч, единственная!»

Скажете: какого черта – ваша библиотека и ваш нигилист? Да и я, я тоже руками развел (мысленно, мысленно), когда он постучался ко мне и сказал об этом. И ведь вправду, они все больше жили сердцем, нежели мыслью. Эго, пожалуй, верно, но сейчас о другом.

Сейчас я внимания прошу, потому что никаких бомб, никаких подкопов. Сюжетами этими многое заслонилося. Нет, хочу, чтоб слышали музыку, которая в его душе звучала, постоянно звучала, хотя и под сурдинку... Впрочем, тороплюсь.

Так вот, он-то, Александр Дмитрич, как раз ради книг и явился. Ради каких? Нипочем не угадаете. Представьте: староверы, раскол!

Ну да, да, да – раскол. Опять-таки: а с какого боку тут я – Владимир Рафаилыч Зотов, православного вероисповедания?

До времени у нас об расколе только и знали, что по романам батюшки моего и романам Масальского, который так ловко строил интригу. Занявшись расколом, отец мой копил кое-какие бумаги, а я – сборники Кельсиева, нелегальное «Общее вече».

Разумеется, Александр Дмитрич обо всем этом не ведал. Он попросту намотал на ус хвостовство Анны Илларионны. Зачем, с какой целью? Он бы, понятно, и в Публичной отыскал, ну, скажем, Аввакумово «Житие», или Субботина, московского, этот его трактат о расколе как орудии враждебных России партий, или, наконец, «Братское слово»... Или вот еще: Ливанова очерки, хотя и мерзейшие, но с фактами, с фактами... Отыскал бы, конечно. Но примите в расчет образ жизни: день-деньской на ногах, глядишь – девять вечера, затворились двери Публичной. А ежели бы книгу на ночь, ежели бы с книгой в полночь, за полночь? Вот он и пришел.

Мне первое на ум: не желаете ли, говорю, книжку многострадального Щапова? (Был такой историк, очень его радикалы уважали.) Благодарит, улыбаясь. Я сказал ему про сборники Кельсиева, про «Общее вече». Он рот разинул. А мне, библиофилу, приятно. Однако, говорю, *эти* я на руки не дам. Увольте, не дам. *Эти*, говорю, нынче ни у одного книгопродавца не сыщешь. Понимаю, отвечает, и опять улыбается этой своей приветливой улыбкой, очень, говорит, понимаю, а как быть? Ну, как быть-с? Желаете, присаживайтесь, листайте себе на здоровье.

Не помню, кстати иль нехстати, из одного тщеславия, но я ему про Герцена... Стойте, господа, тут все связано. Этот вот Кельсиев был Герцену одно время сотрудником, а листы «Общего веча» выдавали в свет при «Колоколе». Я и брякни, что газета газетой, а я и Герцена знавал. Тут он, Александр-то Дмитрия, даже как будто и растерялся. В глазах, вижу, мольба и вопрос.

Я по себе, господа, знаю. Бывало, сойдутся у батюшки... Мы тогда жительствовавали у Львиного мостика, в казенном доме театральной дирекции, где батюшка служил... Да, бывало, сойдутся. Вино, разговоры, воспоминания. Слышишь: «Государыня изволили...», «А Гаврила Романыч входит...» Слышишь такое – душа мрет. Не от того мрет, чего уж там такое изволила государыня, а от того, что вот этот самый человек, эти вот самые глаза глядели на Екатерину, на Державина...

Должно быть, у Михайлова подобное возникло, когда я о Герцене заикнулся. Не велика моя «причастность» к Герцену, но знавал Александра Иваныча. Знавал!

Сильно я эдак-то в объезд беру. Но, во-первых, Герцен, знаете ли, такая неисчерпаемость, а, во-вторых... Во-вторых, тут и линия наших отношений с Михайловым. Сдается, «причастность» к лондонскому изгнаннику подняла мой кредит в глазах Михайлова. И что самое-то странное, даже смешно, ей-богу... Я ему рассказываю про Герцена, а самому приятно, лестно, даже вроде бы горжусь. А я ведь отчетливо сознавал, что внимание не к моей персоне, а как отраженный свет. Ну, а все равно приятно.

Я видел Герцена: счастливые билеты доставались трижды. Впервые – в сороковых; он приезжал из Москвы, посетил Краевского...

Нет, до «Голоса» еще вечность была; я тогда редактировал «Литературную газету». Краевского я хорошо знал. Он женат был на Анне Яковлевне, урожденной Брянской, удивительная была Дездемона, да-с... Брянский, актер Александрийского, жил в нашем доме, его дочери, Анна и Авдотья, на глазах росли. Так что я будущую Краевскую еще до Краевского знал.

Ну вот, у Краевских в сорок шестом я и познакомился с Герценом. Помню, долгопильный сюртук – московский покрой; да и весь Александр Иваныч был, так сказать, московского покроя.

Если бы вы только слышали, как он говорил! Я не о том, что говорил, а именно о голосе, о звучании голоса... У нас, коренных петербуржцев, согласитесь, есть эдакая снисходительность: э, Москва-матушка, большая деревня... Я тоже так. В одном отдаю решительное предпочтение – красоте, прелести московской дикции. Тут уж наш Санкт-Петербург нишкни. В нашем твердом, быстром говоре нет ни отзвуков благовеста, ни отсветов солнца на маковках... А у них – есть. Вот у Герцена-то как раз и была прелестная московская дикция. Голос плавный, льющийся, заслушаешься.

Но слушать – трудно. Это не парадокс: трудно от быстрого полета мысли. Будто гонишься, весь в напряжении, и не поспеваешь, а рядом так и полыхают молнии, так и полыхают... И еще: после Герцена, как он уйдет, у тебя с другими людьми разговор не вяжется. Чувствуешь, нужно «приспособиться», потому что после Герцена всякая иная беседа – колченогая, неказистая...

Теперь – дальше. Текли годы. Александр Иваныч был за границей. Император Николай Павлыч опустил шлагбаум, нас всех – под караул, каждому – свой будочник. «Ох, времени тому!» – как встарь вздыхали... Звуча «Герцен» боялись хуже мора. Нынче и не понять, как переменялся смысл самого слова: «эмиграция». Вернее, в ту пору говаривали «экспатриация»... При Николае-то как измена, синонимом измены воспринималось, да-да. Ну, в лучшем случае как несчастье. А Герцен доказал право на политическую эмиграцию – моральное право, если ты сознаешь себя гражданином.

Ну-с, жили мы под Николаем. Потом, в шестидесятых, пожимали плечами: господа, да как это мы дышали? И все до точки списываешь на счет всепоглощающего страха. Верно: «и бысть страх велий». Однако все и вся на страх-то свалить – не слукавить ли? Дескать, что

тут рядить, все мы люди, все мы человеки. А нет, не только страх, не-е-ет! Было еще одно обстоятельство. На него все тот же Герцен указал: резкое понижение нравственного уровня образованного общества...

Я вспоминаю чувства при известии о кончине Николая Павлыча. Поверите ли, первым было – недоумение. Почему? Да ведь Николай-то Павлыч, грозный царь наш, был, есть и будет. Вот какое гипнотическое состояние: есть и будет, едва ль не во веки веков. Всех нас переживет и детей наших, а то и внуков тоже. И вдруг – преставился, почил в бозе!

Надо было жить в то время, чтобы понять: ей-богу, парить захотелось. Окна настезь! Свет, воздух! Распахни объятия, христосуйся, светлое воскресенье, право.

Многих потянуло в Европу, ездить стали, шлагбаумы поднялись, а будочники головушки повесили. Собрался и я. Надумал заграничные письма писать для «Сына Отечества», хотя сотрудничал в «Отечественных записках» – критическим отделом заведовал. Но главной-то целью, меккой, как и для многих, стоял туманный Альбион, Лондон.

Прямого сообщения через Берлин не было, только еще строилась железная дорога от Кенигсберга до нашей границы. Пришлось часть пути проделать морем, будь оно неладно. (Мой старший – офицером флота, вокруг света плавал; спрашиваю: «Как это ты, Рафаил, такую каторгу терпишь?» Смеется...)

В Лондоне – «знакомые все лица»: Краевский, писатели. Все жаждут видеть Герцена. Да, забыл сказать: в тот самый год на всю Россию загремел «Колокол»... Александр Иваныч пригласил к себе всех нас. Одному Некрасову отказал. Была, кажется, какая-то претензия к Некрасову – за Огарева или жену Огарева, в точности не помню.

Жил Герцен в Путнее. Это от Лондона поездом минут двадцать. Занимал дом, двухэтажный, с садом; в саду зелень нежная и вместе крепкая, как повсеместно в Англии.

Герцен, вижу, мало переменился. Та же подвижность, льющийся голос московского тембра. Ну, несколько статью плотнее. И, может быть, больше открылся лоб, великолепных очертаний лоб у него был. Да, вот еще: как бы впервые расслышал его смех – открытый, искренний, так смеются очень честные люди.

Он радовался нам. Не тому, что мы явились на поклон: позвольте, дескать, засвидетельствовать... Нет, ни тени литературного генеральства. Он радовался русским, землякам. И в этой радости уже таилась глубокая тоска, эмигрантская, от которой защемило мое сердце при следующей встрече, десять лет спустя.

Мне случалось чревоугодничать на многих литературных обедах. Юбилейных и дружеских, городских, загородных, на всяких. Но такого, как в Путнее, не случалось ни раньше, ни позже: необыкновенное настроение покоряющего и общего дружества. Думаю, было сходство с лицейскими годовщинами. Не нашими, не моего выпуска, а первого, пушкинского.

Вот говорят: «пишущая братия», «братья писатели». А я вам по секрету: братия – да, братья – нет. Тут каждый стражником собственного «я». И тяжба самолюбий, то явная, то скрытая. Тут местничество: кто второй, а кто седьмой. Поют добро, а сами недобры. Литератору надобно душевное здоровье. Не только, чтобы выстоять посередь всяческой скверны. Не только. А и затем, чтоб не зачумиться своим тщеславием. А тут еще, смотришь, нечаянно пригреет славой... Именно нечаянно, что чаще всего и бывает... Я думаю, знаменитостей следует жалеть. Да ведь поживи они подольше и – что же? Нечаянная слава истаяла, нету, шабаш. Каково это, а? Сетуй не сетуй на новые поколения, а саднит горечь. А ежели нас взять, которые второго или третьего разбора? Нам, незнаменитым, надо пережить... лучше сказать – надо изжить бесславие. Всю жизнь изживать. И ничего-то тебя иное не вызволит, одна скромность. Но не казовая, а нутряная. Смирренная скромность нужна. А если есть она – истинное счастье работать...

Отвлекаясь Герценом, я, кажется, и от Герцена отвлекся? Так вот, у него, в Путнее, когда все мы там собрались, никаких этих самых самолюбий, местничества, тяжб. Улетучилось, ступевалось, веяло заветным, поистине братское было душевное расположение.

А последующие дни – прогулки по Лондону, и Александр Иванович – наш любезный поводырь. Где мы хаживали – об этом не стану. Одним, впрочем, прихвастну: я Диккенса слушал. Публичное чтение было, Диккенса читали, а эпизоды читал сам автор. Вот какое везение, господа!.. А теперь напоследок по секрету шепну... Вам сборник «Русская запрещенная поэзия» знакомый? Да, да, герценовского издания. Так вот, господа, – моя лепта. Я тогда ему-то, Герцену, и привез. И Пушкина, и Рылеева, и Кюхельбекера, и Дениса Давыдова – все у нас, в России, запрещенное. Привез! И не скрою, горжусь!

В ваши лета вздыхают: «Ах, Париж! О, Париж!» Оно так, Франция прельщает: святые камни, святые воспоминания, этот неповторимый галльский аромат. Да, бесспорно. Но Англия, но Лондон... Помилуйте, я вовсе не англоман. Есть худое, есть и отвратительное. Но есть и капитальное, крепкое, как цемент: сознание значимости, ценности каждой личности, какого б веса ни была. Неколебимая убежденность: закон для всех писан. Положим, и в наших палестинах провозглашена законность. Я сам ее практический поборник, хотя бы уже по одному тому, что не раз был очередным присяжным заседателем в окружном суде... Да, законность провозглашена, с николаевским временем никакого сравнения, согласен. Но согласитесь и вы, что где-то в глубине души каждый из нас отнюдь не думает, что закон для всех писан. А вот тут-то и есть пакость, что мы так не думаем. У них же это кровное, в порях, не вытравишь. Не согласны? Эх, не будем пикироваться, ей-ей, когда-нибудь молвите: «Зотов, покойник, прав был, царствие ему небесное».

Ладно, обойдем сию матерю. «Полно тово, и так далеко забрел, на первое пора воротиться». И верно, забрел. Только... вот они, годы... Где я свернул, откуда убрел? Не сообщу...

А-а, покорнейше благодарю. Так вот, Михайлов мой, Александр Дмитрич, он, стало быть, припал к моим книжным полкам. И двинулся строгим маршрутом, ни вправо, ни влево, а подавай ему раскол, древнее благочестие. Особенно «Общее вече» приглянулось, так и вонзился. Газету – прибавлением к «Колоколу» – Кельсиев составлял, тогдашний соратник Герцена. Потом-то Кельсиев отрекся, на другую сторону передался, несчастнейший был человек. Но это позже, а тогда он при Герцене «Общее вече» составлял.

Тут вся соль и вся приманка для моего нигилиста-книгодея, знаете ли, в чем крылись? В идее соединения раскола и революции!

Коня и лань в одну телегу? Я наперед прошу: держитесь, пожалуйста, на той поверхности, на какой мы тогда жили. А то ведь, извините, задним умом крепки. Невелика проникаемость, если она, в сущности, и не ваша. Вас время подняло, и притом, заметьте, без всяких ваших усилий. Время и горький опыт тех, кто сошел под вечны своды.

Терпеть не могу приват-доцентов: откушают утренний кофе, встряхнут манжетами и ну разить минувшее критическим оружием нынешней выпечки. Вот, скажем, военному историку, тому ведь в голову не придет бранить лучников за то, что не пользовались пушками. А невоенный историк, эдакий приват-доцент, вершит в кабинете: это было неоправданно, а это было вредно... Терпеть не могу всезнаек, за которых уже потрудились старуха история. Не мудрость, а мелкое глубокомыслие. Нет, ты бы, сударь, слился душою с деятелем минувшего, поварился в котле тогдашних страстей, потерзался миллионом тогдашних терзаний, а уж после, уж потом хмурил бровь...

Э, нет, я не сержусь, я «отсердился», на Михайлова и его друзей в том числе, но об этом поговорим... Так вот, идея-то была соединить раскольников с революцией.

Наш раскольник в силу вещей заведомым протестантом казался. Все тот же Аввакум (его реченья любил Александр Дмитрич) говорил: «А власти, яко козлы, пырскать стали на меня».

Староверов-то на Руси сколько? Миллионы. И на всех «пырскаяют власти».. Как тут было не призадуматься?

Но должен вам сказать, что я сам-то не задумывался. Ну, заглядывал вот сюда, на огонек, Александр Дмитрич, читал или с собою уносил, а мне и невдомек, что он там замышляет.

А весной... Выходит, это уже в семьдесят седьмом... Да, весной он вдруг и запропал. Нет и нет. У Анны Илларионны справиться? И ее нет, на войну уехала.

Ну, кто он мне? Почти как в стихотворении Полонского: кто он мне? не брат, не сын. А вот представьте: растревожило отсутствие. Знаете это ожидание, когда востришь уши – не слышатся ли шаги?..

2

Летом решил я вон из Петербурга. Поеду, думаю, вниз по Волге-матушке, давно собирался. Прочищу-ка усталую грудь, благо первый том сверстан... Я тогда начал выдавать в свет «Историю всемирной литературы». Материалы прикапливал лет тридцать. Теперь – вот они, видите? – четыре тома плотной печати, монблан, Маврикий Осипыч Вольф издал. Не хвастаю, а единственный у нас труд. Пусть популярный, но единственный: представлена деятельность человека в мире творческой фантазии...

Поехал на Волгу. Как да что, нужды нет. Прошу сразу в Саратов, там я остановился. И вот почему: адвокат Борщов сообщил – есть-де в Саратове удивительный старичок ста двадцати от роду. Ого, думаю, действительно старинушка. А меня очень занимала гильотина, то есть эпоха террора... Впрочем, погодите.

Вот смотрю – Саратов. Волга уже и тогда мелела, едва-едва привалили к пристани. Сошел на берег. У графа Соллогуба в «Тарантасе» отменная формула российского града: застава – кабак – забор – забор – забор – кабак – застава... (Кстати сказать, мы с графом Владимиром Александровичем в «четыре руки» написали либретто для первой оперы Рубинштейна.) Ну, с, заборы, заборы, заборы... Тянет тухлой рыбой, навозом, дрянью. И пыль, у-ух какая пыль. А из острога та-акие рожи – мороз по спине.

Я взял номер в гостинице «Москва». Зимой там цыгане, дым коромыслом, а летом, когда я, актеры бедовали, жалуясь на упадок интереса публики. Актеры были молодые, талантливые; и Андреев-Бурлак, неподражаемый Аркашка из «Леса» Островского, а сверх того даровитый беллетрист; и Давыдов Владимир, да-да, теперешняя наша петербургская знаменитость; он мне, между прочим, там-то, в Саратове, сказал, что был занят в моей пьесе «Дочь Карла Смелого», в роли Ганса Доорена...

Ну хорошо. Взял номер, переоделся, спросил самовар. Передохнув, отправился к Борщову. Знакомство наше было свежее: весной Павел Григорыч выступал в Петербурге защитником на политическом процессе. А постоянно жил в Саратове, присяжным поверенным служил.

Иду себе на Приютскую улицу, платком обмахиваюсь. Вижу: пленных ведут. Фески, шаровары, народ прочный, но, конечно, уже не кровь с молоком, отощали, грязные, бороды всклокоченные.

Толпа глазееет на «турку». Какие-то барыни, чиновницы должно быть, кукиши строят, кричат; лавочники камня хватают, грозятся и тоже пыжатыся. А простые мужики и бабы суют «турке» кто пятак, кто краюху.

Я это к тому, что мешанин непременно великого патриота корчит. Лакейский патриотизм. А мужик, он жалостлив к «несчастливым», он уживается с сотнями народностей. Говорили, что крестьяне брали наемных работников из пленных турок и не было случая, чтоб обижали.

Со мною обок торчал в толпе мужик. Дюжий, а вздыхал по-бабы: «Эх, бяда, братцы, бяда-а-а-а...» Я – ему: «Послушай, любезный, да ведь и нашим богатырям, поди, не сладко, а?» – «А по мне, барин, никаких таких богатырей и нету вовсе». – «Как так, – говорю, – нету? А кто Дунай одолел?» – «Солдатики, барин, одолели. А богатыри-то, – смеется, – богатыри-то в Питере: на мосту они, видал? На мосту лошадей под уздцы держат: чугунные». Я тоже рассмеялся. Потом свое: а все, мол, и нашим у них не сладко. «Ка-акое, – говорит, – сладко, коли от хозяйства живьем оторвали?!» Махнул рукой и подался прочь...

Пришел к Борщову. Дом с садом. Мы под яблонями устроились. Хорошо... Я ему передал свой давешний диалог в толпе. Павел Григорыч по роду своих занятий часто с мужиками дело имел. Ну и, естественно, наслушался рассуждений о войне. Равнодушия, конечно,

не было. Какое равнодушие, если чуть не с каждого двора забрили лоб... Павел Григорьевич обладал актерским даром. Он мне в лицах представил, я поначалу смеялся, потом загрустил.

Невежество в деревнях поразительное. Толковали, что «англичанка» под землю соорудила «чугунку» и гонит по ней к басурманам оружие и харч. А тут еще знай поглядывай, как бы другой, третий в нашу державу не «вчепился». Что до целей войны, то царь наш ничего не желает, кроме как пособить единоверцам. Однако в этом пункте случалось слышать иное мнение, не часто, но случалось: «Э, батюшка, за проливы дерутся, за проливы...» Вот соседство: и невежество, и проницательность.

Наконец зашла речь про старца француза. Я вам говорил, что ради него-то и задержался в Саратове. Жил он на Грошевой улице, звали его Савена. Сто двадцать от роду – уже само собою, но дело не в годах, а что в те годы улеглось и втиснулось. Биография для Дюма. Француз был из осмнадцатого века, из версалеи, из-под плащей Людовиков! Отец потерял голову на гильотине. Сын участвовал во всех кампаниях Наполеона. Начал египетской, кончил московской: его пленили на Березине. И вот он с двенадцатого года и застрял в России. Вы только подумайте – с двенадцатого!

В Саратове снискивал хлеб насущный студенческой методой: уроки давал. Благо Митрофанов везде с избытком. Французскому учил; наверное, смесь французского с саратовским получалась.

Бодр он, как истый галл, уверял Борщов. Ум и память твердые, на печи не лежит – лавры Вальтера Скотта спать не дают. Что такое? Да он, Савена, оказывается, пишет на своей Грошевой улице «Историю Наполеона», пишет и сам иллюстрации готовит.

Для меня корень был не во всех обстоятельствах столь удивительной судьбы, а в одном обстоятельстве. Очень оно меня занимало, да и теперь занимает. Тут вопрос из эпохи гильотины, террора. Прошу заметить: меня не внешняя сторона привлекала, но факты, не осуждение или оправдание террора, нет, другое хотелось постичь. *Как и почему* от этого самого террора сами Робеспьеры и гибнут? Ученые трактаты, пыль архивная – это одно. А тут вдруг – в Саратове живой свидетель. И не то чтобы он в ту эпоху манную кашу ел, нет, какое там, он тогда в самый возраст вошел.

Старец был уникам. Ничего сладкого, любезного, егозящего, ничего из того, что мы французам приписываем. Напротив, суров и сдержан, говорил с оттяжкой, вдумчиво. Кожа да кости, волосы обесцвечены временем, но в глазах – блеск.

Я не ждал от Савена академического решения «проклятых вопросов». Я все академическое в сторону, ученые сочинения побоку. Мне хотелось ощутить запах эпохи террора; не разбирать, кто прав, кто виноват, а вникнуть, как бездна призывает бездну. Мне хотелось уловить жест эпохи, ее походку, вкус. Это не мелочи. А если и мелочи, то такие, которые составляют ткань времени, но они-то как раз и исчезают вместе со временем. Остаются бумаги: декреты, депеши, газеты... Мне, повторяю, другое было нужно. А тут – очевидец! И памятный, зоркий.

И потом, это уже позже, вот здесь, у меня на Бассейной, когда у нас с Михайловым заваривались споры о природе власти, о терроре, о праве на кровь, этот старик Савена тенью вставал...

Между тем, будучи в Саратове, я наведывался к Павлу Григорьевичу Борщову. Он знал бездну, отлично рассказывал, думаю, в нем погиб хороший литератор.

Так вот, представьте, иду это я однажды к Борщову на Приютскую. Пыль садилась вместе с солнцем, вокруг багровело. Иду. И вдруг: Михайлов! Да-да, Александр Дмитрич собственной персоной. Вид у него, доложу вам, был совершенно невозможный: обтерханый пиджачишко, сапожонки всмятку, картуз жеванный. Не то малый с баржи, не то из керосинового склада.

Должен сказать, что и после безумного лета семьдесят четвертого года радикалы не оставили «хождение в народ». На мой взгляд, какое-то миссионерство. Они будто высаживались

с корабля прогресса на дикий берег. Они шли с фонарем социализма в руках, а дикари норавлили слопать праведников. Надо заметить, Александр Дмитрич хоть и не был лишен юмора, а морщился от подобных сравнений. Впрочем, признавал, что «меньшой брат» подчас волок пропагатора «в расправу».

В тот год, о котором речь, в семьдесят седьмом, в год военный, социалисты устремились на Волгу. Если разом оглядеть всех, кто невдолге съединился в партию «Народной воли», то непременно у них за спиною увидишь Волгу. Там, да еще на Дону, бунтовской дух чюяли. Им стеньки разины, емельки пугачи мерещились. Вот и слетались. «За Волгой, ночью, вкруг огней...»

Но, в отличие от прошлого, они теперь не бродили с места на место, а как бы вкрапливались в народную гущу. Способы были разные: кузницы и швальни, писарь с чернильницей или учитель с указкой. Разные способы. Одни угнездились окрест Самары, другие – окрест Саратова.

А тут, в Саратове, был у них пособником как раз Павел Григорьич Борщов. Он им должности подыскивал, ходатаем выступал, нужные бумаги выправлял. Вот, скажем, члены присутствия по крестьянским делам, они по теории не должны мешаться в мирское самоуправление. Да ведь кто не знает, теория одно, практика другое. Члены присутствия и не вмешиваются, а только «рекомендуют». Ну, например, рекомендуют такого-то волостным писарем. А эта рекомендация, по сути, приказ.

Но вот о чем ни тогда, ни позже я не знал, да и не узнал бы, когда б не случай, это уж совсем недавно... Был там один нотариус. Я его у Борщова, несомненно, видел, но облик смутен. Стерт, как «кудрявчик», целковый времен Петра Великого. Как его звали? Почему-то мелькает: «отчич», «дедич», смешно. Не то Прабабкин, не то Праотцов.

Он, видите ли, вхож был к начальнику губернских жандармов. Понимаете? К начальнику губернского жандармского управления. От этого Прабабкина-Праотцова польза выходила существенная. А потому выходила, что этого желал... сам полковник. Отнюдь не из сочувствия радикалам, а потому, что за своих собственных детей страшился. Дети были взрослые, полковник-то и страшился, как бы не поддались поветрию. Сверх того у полковника на ближней дистанции вставал пенсион. И уж так хотелось без хлопот и огорчений дотянуть. Вот и сладилась некая цепочка. Едва, значит, нападут на след, а полковник тотчас и шепнет Прабабкину-Праотцову: дескать, не откажи, голубчик, утихомирь молодцов. Нотариус, рад служить, тотчас к Борщову, к Павлу Григорьичу, а тот – по «инстанции». Вот какой телеграф работал.

Но все-таки – это уже после моего отъезда из Саратова, на другой, кажется, год – пошли, пошли аресты. Может, полковник-благодетель дотянул-таки до пенсионера и явилась новая метла. Очень может быть, а в точности не скажу.

Итак, иду я к Борщову, а встречаю Михайлова. Вижу, и он меня на прицел взял. Однако виду не подает. Ну, думаю, ты, сударь, молчишь, и я промолчу. Не оборачиваюсь. А чувствую, затылком, кожей чувствую, что и он за мною следует. Не догоняет, но и не отстаёт. Черт знает почему, а меня это начало раздражать. Вот это напряжение кожи раздражать начало.

Подхожу к дому, где Борщов. За воротами кто-то фальцетом кличет: «Мань, а Мань, ступай скотину убирать!» Рядом, у ворот, на лавке – гармонист. Сидит мешком, как без костей, и попискивает, попискивает. И это тоже раздражило меня.

В ту минуту Александр Дмитрич, прибавив шагу, поравнялся. Поравнялся и вроде б сигнал подал – не то моргнул, не то кивнул, я не понял, к чему и зачем, что мне делать. А он как ни в чем не бывало косолапит мимо.

Ишь, думаю, и косолапишь-то нарочито... Тут-то мое раздражение и обернулось недобрым к нему чувством. Ах ты, картузик, гуляешь-прохлаждаешься, а барышня-то где, а?! Это я Анну Илларионну вспомнил. Горько, обидно за нее стало. Но не только ее, а и своего вспомнил...

Я вскользь называл Рафаила, моряка моего, Рафаила Владимировича. В ту пору был он в Сибири. Э, нет, не спешите. Был он вовсе не во глубине руд, отнюдь не там, он ведь, Рафаил-то мой, не терпел «завиральных идей красного цвета» – эдак сам говаривал. Нет, носил он мундир, до конца жизни служил. А тогда служил в Сибири, на Амуре, в Сибирской флотилии. И оттуда, из мирной дали, – рапорт за рапортом: на Черное море просился, на Дунай, на театр военных действий.

Оба они в ту минуту мне и мелькнули, Анна Илларионна и Рафаил, в ту самую минуту, когда Михайлов «сигналил». И такая досада взяла, такое раздражение, что и к Борщову расхотелось. Да Павел Григорыч в окно увидел, окликнул. Неудобно. Я зашел. О том о сем, время бежит, совсем свечерело. Мне убираться пора, а я – странная штука – медлю, словно чего-то ожидаю. Сам не понимаю, чего, однако медлю.

И вообразите – дождался. Входит кухарка, подает хозяину записку. А меня как осенило: что-то, думаю, меня касающееся. Оно и точно, меня, меня... И опять-таки странность: совсем вот недавно озлился на Михайлова, а теперь будто от сердца отлегло, даже обрадовался...

Саратовский променад на Большой Сергиевской. Вернее, в Барыкинском вокзале, купец Барыкин содержал: большой такой сад, аллеи, разноцветные фонарики. Ну-с, оркестр, ресторан; там, сям беседки, террасы к Волге.

В барыкинский сад я и препожаловал на другой день, вечерком. Явился, как на павловскую дачу Краевского, моего издателя, то есть в сюртуке и черном галстуке. Саратовский бомонд зевал и шаркал. Пахло духами местного разлива. И эдак еще прогрессом пованивало – дальней нефтью, слабой окалиной.

Как было велено, двинулся боковой, нижней аллеей, по-над Волгой. Смешно сказать, я чувствовал себя ужасным конспиратором, едва ль не карбонарием.

Александр Дмитрич поджидал меня, как барышню, в беседке. Мы молча быстро и крепко пожали друг другу руки. Гляжу на него: не затрапезен, как давеча, но, однако, скромное скромного. Я в своем сюртуке и галстуке – совершеннейший фронт. Он огладил себя ладонями, пояснил, чуть улыбнувшись: «Иначе нельзя. По нашей вере, Владимир Рафаилыч, «в каждой пестринке сидит бесинка». Или еще так: «рубаха пестра – антихристова душа»».

«А-а, – сказал я не без некоторого удивления, – вон что: древнее благочестие?» – и машинально предложил папиросу. Он не взял: «Опять нельзя. Хозяйка строгая, в два счета табашника выставит».

Он осведомился, какими судьбами. Я ответил, не задавая встречного вопроса. Он еще о чем-то, но рассеянно, из вежливости. Вышла пауза. Я чувствовал, чего он ждет, но первым не хотел. Но только, если б он не спросил, я обиделся бы, рассердился. И он спросил.

Господи, чем я мог его обрадовать? Последнее письмо Анны Илларионны давно было, с тех-то пор пропасть дунайской воды утекло... Мы оба пригорюнились. Я думаю, нет, уверен, знаю: то были мгновения нашей особой близости, личной, интимной. А такие мгновения, вопреки сущности мгновений, не исчезают бесследно.

Спустились к Волге, пошли берегом. Моя безгласность, то, что я не выпрашивал, не задавал вопросов, а главное – минуты молчаливого душевного сближения, они-то, надо полагать, и растворили уста Александра Дмитрича. Мы шли у самой воды, узенькой тропкой, я слушал, не перебивая.

Тут бы мне и потешить вас косыми лучами заходящего солнца, что-нибудь там о плеске, запахах разнотравья; щегольнуть бы наблюдательностью, тонким знанием родной природы. И прибавить бы неизменный «реквизит» – несколько фраз о музыке в барыкинском саду, о «чарующих» звуках, которые лились оттуда, сверху. Я, однако, изложу голую суть. Выйдет, наверное, как с кафедры. Но «лекция» необходима.

3

Думаю, не призабыли, что до отъезда на Волгу Михайлов «по книгам бродил»? Да, усердно и много бродил. И вот какого свойства свершалась в нем мыслительная работа. (Я бегло, схемой.)

Раскольники есть хранители народного духа, а народный дух есть протест. Века чиновничьей муштры не оборвали главную струну, звучит она, трепещет. И основная тема раскола в том, что Русью завладел антихрист: выпросил сатана у бога Русь и окрасил ее кровью мучеников... Вы вслушайтесь: выпросил и окрасил кровью. Не чуется ли громадная глубина? И не здесь ли смысл таких судеб, как у героя моего рассказа?

Раскол, знаете ли, ветвист. Если обозреть ветви и сучки этого старого, кряжистого, раскидистого древа, то сидеть нам до второго пришествия. А нам бы соблюсти Михайловскую линию, которая пролегла тогда в пристальном рассмотрении крамольного элемента раскола. Именно крамольного!

Антихрист завладел Русью. По твердому разумению раскольника, дух богомерзкий воплотился во «властодержцах». Власть и есть антихрист. Раскольники не молятся за царя, отмечают вмешательство государя в дела веры. Весьма рельефно изъясняются: «Как архиерею неприлично входить в распоряжение войском, так и государю не следует касаться веры». И ничего не возразишь: архиерею, оно и точно нечего соваться в стратегию, а?

У нас вот, у тех, кто лишь по расколу скользнул, у нас какое впечатление? Мы видим две стороны, они выпирают. Сколь ни ужасен кромешный фанатизм, все эти самосожжения и прочее, как ни стынет от них в жилах, а ведь это – пассивное сопротивление. Это раз. А вторая сторона, бьющая в глаза, – это какая-то окаменелая приверженность к букве преданий, к букве веры. Однако если глубже, если внимательнее... Темные скрижали раскола нет-нет да и озарялись ярким светом. Я о том, что история раскола знает и «открытую брань» с антихристом, знает «творящих брань». Были примеры, были.

Что до окаменелости, так сказать, теории, то она, конечно, была и есть. Но не сплошь. Вот послушайте, каково сказано: «Писание – меч обоюдоострый; все еретики писанием изуродывались». Понимаете ли, куда клонят? Или еще: «Вера Христова присно юнеет». «Юнеет» – вкусно сказано, а? И здесь уж... Чувствуете? Да-да, справедливо изволите замечать! Совершенно справедливо: рационализм, именно рационализм. Пусть и религиозный. Выходит, известное допущение свободы исследования.

Да, забыл. Хотя и без того ясно, но подчеркну: отрицание церковной иерархии. Они, знаете ли, как рекут: «Церковь не в бревнах, а в ребрах». То есть что это? А то, что мерилом правды объявляется твое сердце, твоя совесть...

К Михайлову возвращаюсь, к Александру Дмитричу. Душа его на многое в расколе отозвалась. Вы скажете: человек практический, заговорщик, ну и приметил горячий материал. Верно, натура практическая. Он и на Волгу-то, в Саратов, в уезды подался, чтоб раскол узнать не книжно, не из вторых рук (кстати, подчас нечистых), а воочию. Так, верно. Но позвольте, я о душе продолжу. Я это неспроста: душа аукнулась с расколом. А разум, а практика – это еще речь впереди.

Как хотите, а я угадывал в нем сродство с Аввакумом. Давно известно: велика и обильна Россияшка. Одним тоща: характерами. А тут – характер, какой характер! «Никого не боюсь: ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна, ни диавола самого!» Характер: иди и сразись; кровь твоя прольется, но это будет праведная кровь. Слышите – упираю: *твоя* кровь. Вот суть: твоя кровь прольется. Это запомните, потому что вскоре о *чужой* крови вопрос встал...

Да, характер редкостный. Поныне здравствующий Спасович... Вам имя, конечно, знакомое? Он, он! Король адвокатуры, ума палата. Владимир Данилыч чуть ли не на всех полити-

ческих процессах выступал, посмотрелся на революционеров. Так вот, ни одного, понимаете ли, решительно ни одного, даже Желябова, не ставил вровень с Александром Дмитричем. И как раз по силе характера, по чистейшей, без пылинки, преданности идее.

В Саратов, на Волгу Михайлов отправился, повторяю, затем, чтобы изучить возможного союзника. ⁷⁴ Сам признавал: поначалу сомневался, удастся ли. Он знал: раскольники – великие конспираторы, народ недоверчивый, вечно настоroje. Как сойтись, как своим сделаться?

В Саратов он явился еще до Благовещенья. Грязь невылазная: ни конному, ни пешему. Какие тут разъезды по деревням? И Михайлов прилепился у какого-то сапожника, в семье сапожника, в углу, за ситцевой занавеской.

Вы, конечно, наслышаны о ходебщиках в народ. Безоглядный альтруизм, не требующий ни похвал, ни наград. Все так, так. Но вообразите, каково образованному человеку в роли простолюдина. Вот бы вас сейчас да вдруг из этой комнаты, чистой, светлой, теплой, вот бы сейчас – в избу. О нет, не чайку попить да лясы поточить с мужичком, нет, на житье бы, а? И чтоб исподнее в занозистой костре. И чтоб обувка пудовая, в навозе. И чтоб, извините, отхожее место на дворе. А вода для питья не пропущена через винтергальтеровский фильтр, как у меня на кухне. А вонь, а брань, а насекомые? Извольте-ка телесно, кожей ощутить! Я вам не идею «хождения», не политическую или нравственную сущность, я другое хочу оттенить: мелкую, вседневную, грубую обыденность...

Не утверждаю, что Александр Дмитрич в малолетстве на золоте едал. Однако был ведь и просторный родительский дом с большой залой; был хутор, там и зайчишку потравить с собачкой Дианкой, а ежели на Петра и Павла, в сенокос, тоже хорошо, как Левину у графа Лёв Николаича, в полное, значит, ощущение жизни.

Стало быть, первые впечатления бытия у Александра Дмитрича совсем розовые. Но вот он покидает гнездышко, матушку с батюшкой, Путивль с утками, петухами, каштанами, все это он покидает и – в древний, преславный Новгород-Северск едет, в гимназию.

Школьное ученье мы в наших беседах как-то не тронули. А жаль. Потому жаль, что зарницы, то есть многое из будущего, уже в классах возникают.

Да, не пришлось мне с ним о гимназии толковать. Мир, однако, тесен. Барон Дистерло... Сейчас поймете.

Так вот, этот Дистерло тоже учился в Новгород-Северске. Потом, универсантом, слушал курс на юридическом. Михайлов, сдается, не дружил с ним. Но здесь, в Петербурге, провинциалу каждый земляк, каждый однокашник – праздник. Наконец, для легальной переписки на случай оказии годился и Дистерло.

Я об этом знать не знал, да мне, собственно, без надобности. Но вот однажды... Это уж после смерти Александра Дмитрича... Однажды кланяется мне в редакции такой белесенький, сухопаренький, чистенький. Оказывается, барон, служа в сенате, на досуге кропает критические статьи. Я с редакционной машинальностью спрашиваю: «Какие, позвольте полюбопытствовать?» Он тотчас – пожалуйста, вот, вот и вот-с...

Должен признать, пером владел. А направление было скверное. Этот Дистерло выгодный, ко времени ракурс избрал: бранить литературу шестидесятых годов. (Я имею в виду настоящую литературу, вы меня понимаете.) Словом, юрист этот принадлежал к тем мужам, которые корень зла усматривают в правдивом изображении жизни человеческой.

На дворе тогда сильно подмораживало, я говорю о политической погоде. В открытую с ним объясняться я поостерегся. Однако морщусь. Он было несколько смутился, но крылья не опустил. Воздвигая доказательства, сослался на пример сверстников, загубленных-де литературой.

Вы, конечно, догадываетесь: он назвал Михайлова. А другой, кто другой – никогда не догадаетесь... Кибальчич! Так, так, так, он самый: изобретатель метательных снарядов, кото-

рыми и свершилось происшествие первого марта. Именно тот Кибальчич, который кончил на эшафоте вместе с Желябовым и Перовской.

Вот как нити сплетаются, господа. И Александр Дмитрич, и Кибальчич, и этот Дистерло – одной гимназии! Разумеется, я встрепенулся. Барон трепет мой отнес на счет убедительности собственных построений. Я не перечил, а просил подробностей: они, мол, убедительнее голых рассуждений.

Про Михайлова он вот что... Впрочем, сперва о Кибальчиче, а потом – к Александру Дмитричу. Нет, я и сам могу немножко. Я Кибальчича встречал, видел. Но я, понятно, не знал, что этот корректный человек и есть главный техник «Народной воли».

Я не знал, что Кибальчич – Кибальчич, я знал «Самойлова»: это псевдоним. Он сотрудничал в журнале «Слово». Я иногда заходил в редакцию, заставлял и «Самойлова». На нем нельзя было не остановить взгляда: лицо той особенной бледности, которую в старину называли «интересной». И скромность. Не робость или конфузливость, а достойная скромность. В нем не было бойкости, никакого неряшества, от него веяло добротным европеизмом. Помните, он был молчалив. Если не ошибаюсь, он писал еще и для «Мысли» Оболенского...

А барон Дистерло знал Кибальчича гимназистом. Два поступка придали его имени ореол. Так сказать, всегимназический ореол. Кибальчич публично, в присутствии соучеников, изобличил ментора во взяточничестве. Ментора звали – Безменов. Вот вам опять нити: спустя какое-то время сей Безменов сделался... свояком Михайлова: женился на его младшей сестре. (Анна Илларионна была знакома с семьей Безменовых.) А потом другое: Кибальчич вступился на улице за мужичонку да и наградил затрещинами не то городского, не то, бери выше, квартального. Правдолюбца – опять в карцер. Однако не выгнали: учился блистательно.

А главное, к чему и вел Дистерло, памятуя свою «критическую» задачу, главное-то в том, что Кибальчич был устройтеlem тайной гимназической библиотеки. Школяры вскладчину раздобылись Чернышевским, Добролюбовым, «Колоколом». В этом деле рядом с Кибальчичем подвизался Михайлов.

Когда Дистерло заговорил об Александре Дмитриче, в голосе барона зазвучало сожаление. Искреннейшее притом, да-да. Если б, заявил он, Михайлов не объелся революционной белены, непременно бы вышел в государственные мужи крупного калибра.

Вообще получалась некая двойственность. Барон презирал, ненавидел «красные идеи». А вот носитель этих идей, скажем Михайлов, не вызывал в бароне ни ненависти, ни раздражения. Говоря об Александре Дмитриче, Дистерло был очень серьезен, я бы сказал, печально-серьезен.

Он, этот Дистерло, не был Михайлову панегиристом, но верно обозначил черты юношеского облика. И что кардинальное? Власть идеала. Где-то там, в захолустье, в давно захиревшем Новгород-Северске, среди луж и обшарпанных стен, там где-то ходит, бродит гимназист и формулирует смысл жизни. О, не улыбайтесь! Он формулирует, этот путивльский медвежонок: жизнь дана не для твоего счастья, а для облегчения несчастья других...

Одноклассники, они себе знай дурака валяли, они по ночам, крадучись, бранные афишки на дверях классного наставника лепили, а тут – смысл жизни, счастье и несчастье!

Надо отдать должное, Дистерло метко подметил «пружины» своего приятеля-неприятеля. В чем меткость, спросите? А в том, что отмел честолюбие и самолюбие. Нет, не они фундаментом, а – самоуважение. Ничего на свете так не трепетал, как падения в собственных глазах. И ничего ему не было гаже потери самоуважения.

Еще черта: потребность покровительствовать слабым. Э, нет, не благодушие, не просто щедрость сильного, хотя и это, конечно, было. Но доминантой – принцип: оборони слабого. Он водил дружбу с теми, кто беззащитен. И не делал различия по племенному признаку. У них в гимназии учились и еврейские мальчики. Мягко молвить, относились к ним худо, отравляли-таки существование. А Михайлов, оказывается, неизменно выступал драбантом, охраня-

телем. Впрочем, улыбался Дистерло, ему-де не так уж и дорого обходилось заступничество – ловек был, бес, кулаком гвоздил превосходно...

Я слушал Дистерло, слушал и думал: отчего все-таки один делается Михайловым, а другой – Дистерло? Вот говорят: обстоятельства, среда и прочее. А тут и почва одна, и условия одни, солнышко одно, а стезя разная. Задача, по-моему, со многими неизвестными. Может, и вовсе тупик. Я полагаю, есть таинственный закон, распределительный, что ли. Такой-то, скажем, процент консерваторов, а такой-то – бунтующих. А? Как полагаете? Нет, право, таинственный закон соотношения темпераментов, наклонностей, талантов. Не то чтобы спрос и предложение, а высшая гармония, чтоб не заглохла нива жизни...

Уф, господа, как в буран попал, совсем с пути сбился. Начал-то я с того, как приходилось ходебщикам в народ. Не о том, что им грозило от властей, а каково приходилось в повседневности.

Александр Дмитрич, повторяю, ни в детстве, ни в юности на золоте не едал. Однако и не в хлеву рос. Были у него потребности культурного человека, элементарные гигиенические привычки. А тут приезжает он в Саратов – и поселяется в углу, за ситцевой занавеской, обок с сапожным товаром, драными бахилами, вонючими сапожищами.

Усмехаетесь, господа? Мол, люди этого разряда внимания не обращали. А я отвечу: рахметовское ложе «из принципа» – это одно, а грязь и мерзость – совсем иное. Телесные ощущения, они с принципами мало считаются. Нутко вообразите себя в условиях, где дневал и ночевал ходебщик в народ?..

Однако продолжаю. Стало быть, мерк летний вечер, и там, наверху, оркестр музыки играл вальсы, а рядом лежала волжская вода, и я слушал Михайлова.

Жил он в Саратове, выдавал себя приказчиком по хлебной части из Москвы. Война, известно, приглушила торговлю, начались затруднения с куплей-продажей; тут-то многим приказчикам – пожалуйста расчет и на все четыре. Почему бы такому и не позычить на матушке на Волге?

На дворе весна все шире. Дни росли. Михайлов – спозаранку из дому. Знакомился, приглядывался. В трактирах тянул с блюдца, сахарок посасывал; на базарах меж возов толкался; на пристани с людьми о том о сем, воблой об каблук или о причальную тумбу, а сам все выпрашивает о ближних уездах – что да как.

Саратов весьма подходил для изучения раскольников. Там, знаете, любые согласия встретишь. И поморское, и филипповское, федосеевское, спасовское. И странническое, самое Михайлову желанное. Странники, так сказать, партия бегунов, или, по-тамошнему, подпольное вероучение. Сдается, Михайлов немало от них перенял по части конспиративной, заговорщицкой. Я еще к этому ворочусь.

Михайлов не прижился у сапожника. Хозяин-то, пролетарий, был горластым запивохой, жену чем ни попади колотил. Скандалы, крик, слезы – не велика радость. И желание уединения. Вот, судари мои, еще одна потребность культурного человека. Мы и не примечаем, оттого что нам ничего не стоит затворить за собою двери...

Сыскал он каморку. Это уж совсем на краю города. Хозяйка была канонического возраста, тихая, опрятная. И тут-то Александру Дмитричу, что называется, повезло. На ловца и зверь бежит.

Перво-наперво зоркий его глаз остановился на цыдулечке в рамке под стеклом. Висела она рядом с образами и была озаглавлена: «Известия новейших времен». Ниже, столбиком, печатными славянскими буквами – афоризмы. По мнению Михайлова, весьма меткие. А главное, клеймившие то, что и ему хотелось клеймить. Да, вот еще: первая их часть – красным, а вторая – черным. Вот так, скажем: «Правда – пропала», «Помощь – оглохла», «Справедливость – из света выехала», «Честность – умирает с голоду», «Добродетель – таскается по миру». Ну

и так далее. А внизу, перед тем как «аминь» выставить, резюме. И очень недвусмысленное и Михайлову желанное: «Терпение осталось одно, да и то скоро лопнет».

Хозяюшка была староверкой. Теперь уж Александр Дмитрич сделался домоседом, случайные беседчики ему без надобности. Она тоже присмотрелась. Видит, человек хоть и молодой, а смиренный, кроткий, спиртного и табачного не приемлет. Еще пуще обрадовалась старая, обнаружив в жильце внимательного слушателя.

Как «теоретик» старушка не блистала, но Михайлову другое подавай: какие согласия в каком из уездов, как там иль там относятся к «мирским», к православным, что думают о «последних временах».

Я бы соврал, утверждая, что рассказ его меня сильно заинтересовал. Честно говоря, не видел серьезного, игра какая-то... А серьезное тут и присутствовало. И вот в чем оно было.

Громадная мысль жила и крепла в душе Михайлова. Лучше бы даже сказать не «мысль», потому что куце и коротко, а лучше так: особое умонастроение. Я сейчас объясню. И ручаюсь, его же, Михайлова, словами объясню. Уж очень они меня поразили.

Александр Дмитрич не то чтобы помышлял, мечтал и грезил, нет, в его душевной глубине зрела особая религия: народно-революционная. Что сие значит? Народные требования вкупе со старонародными верованиями. То есть это не только использование раскола в революционных целях, не только голая практика, а это нравственная основа. Вот в подобном-то слиянии и прозревал Михайлов живокровную силу.

Он сказал: «И тогда бы мир опять узрел искупление через веру». О, как это было произнесено! Негромко и проникновенно, господа...

И мир опять узреет искупление через веру... Сокровенная сущность русского бунтаря. Тут вместе и нерасторжимо – крест и мятеж. Крест как символ искупления, и революция как выражение святого гнева... Это потом, когда бомбы и подкопы, потом я стал думать, что икона и топор несовместны. Потом, спустя время, а тогда меня поразила эта слитность.

Теперь – напоследок – заметьте следующее: Михайлов сказал – «мир увидит». Не одна, стало быть, Россия, нет, целый мир. Из России увидит мир искупление. Увидит и примет.

Задумайтесь. Становой хребет здесь, капитальная идея: мир обновится, избавится от зол и бед через Россию, посредством России. Искупление Россией, вот что, господа, здесь.

У каждой нации своя партия в оркестре человечества. У каждой своя миссия. А тут совсем иное: не миссия, а мессия. Дистанция невероятная.

Но вот вопрос вопросов: к добру иль не к добру?

Я стар, и я сомневаюсь. А вы... вы решайте. Вам еще много земных дней отпущено.

4

Случайно ли вышло наше randevu? И так и эдак. Случайно потому, что после зеленых святков, а может, и раньше, до Троицы, Александр Дмитрич ушел в уезды, по деревням. Ну, а с другой стороны, и не случайно: от времени до времени он наведывался в Саратов.

Ему, конечно, надо было завернуть к адвокату Борщову, вызнать у Павла Григорьича: не натягивает ли тучу из жандармской канцелярии? Однако не только эта причина.

Я уже упоминал: на Волгу отправились многие землепользователи. В Саратове, и главным образом усердием Михайлова, завели они конспиративные квартиры. Александр Дмитрич называл их тогда по-раскольничьи: «пристани».

Попятно, тайными убежищами заговорщики испокон века пользовались, но Михайлов всегда отличался сноровкой в приискании таких берлог. У староверов особой «породы», у бегунов, эти самые «пристани» как содержались? А так, чтобы и ямы под лестницами, и двойные кровли, иногда каморы за двойной стенкой в избе. Есть деревни, где все дома соединены потайными ходами, а последний дом имеет подземный ход в сады, в перелесок, в овраг.

Разумеется, у землепользователей таких «пристаней» не было, но конспиративные квартиры устроили они ловко. Впрочем, и потом, в Петербурге, Александр Дмитрич имел за подобными убежищами самый недреманный надзор.

Так вот, от времени до времени он и наведывался в Саратов, что называется, «проветриться», обменяться мнениями с друзьями, ревизовать конспирацию. В этом пункте он всегда играл первую скрипку.

Про его хождения по всеям передам, как слышал от самого Михайлова.

Итак, вообразите-ка нашего героя на дорогах-проселках, вообразите среди полей, в ведро и дождик. Вот идет он себе да идет. «Корсетка» на нем, то есть коротенький кафтан со сборками назади, а к полудню без «корсетки», в одной рубахе. На затылке картуз, за спиной мешок с пожитками.

Или, смотришь, подсаживается на попутную телегу к какому-нибудь Астаху. Тут и разговор по душам: «Эх, мил человек, у нас в деревне тебе, чай, покажется глухо...» Тут и баском подтянуть можно: «Что ты, да Саша, да приуныла...» А то вдруг – стоп: слезет возница, потычет в колесо, выставит диагноз: «Ишь хряпнуло...»

Михайлов приглядывал места будущих поселений. И себе приискивал, и товарищам. Прожег сотни верст – из уезда в уезд, из уезда в уезд. Сотни, не для красного словца, а вправду.

Что такое странствующий рыцарь? А это, судари мои, по определению Санчо, такая штука: только сейчас его избил, а не успеешь оглянуться, как он уже император. Мой рыцарь битым не был, однако впросак попадал.

Ритуал соблюдал в точности. В раскольничьем доме держался как человек свой «по вере»: так и сыпал реченьями из писания; двуперстием знаменовался, а не щепотью; плат расстелив, бухался разом на оба колена и ну отбрасывать поклоны.

Забыл сказать: раскольники нипочем не примут «бритоуса»; не примут, хоть ты в ихней теологии двух собак съешь. В Саратове Михайлов был при бороде и усах, чуть рыжеватых, крестьянских, обыкновенных. Потом, в Петербурге, он внешность изменил, подстригался фатовским манером. И усы у него были, как выражаются в Гостином дворе, «хорошо поставлены».

Принимали его у раскольников ласково, «по братии». Однако вышла осечка. Тут вот как обернулось. Был у революционеров уговор не увлекаться пропагандой, а перво-наперво гнездиться. Но душа-то апостольская – алкала проповедовать. Михайлов и попытался.

Пришел как-то в раскольничью деревню. Там водяную мельницу сдавали в аренду. Александр Дмитрич стал рядиться, а пока суть-дело, жил у мужика в избе.

Мужик попался умный. Он не был наставником, но ум и некоторая начитанность влекли к нему посумерничать не только «братьев», а и «сестер» в этих, знаете, темных платках, повязанных по-скитски, в роспуск.

Человек пришлый, но «по вере», кажись, свой, да еще и чуется в нем знание древнего благочестия, Михайлов любопытен им был.

Он и повел речь в том смысле, что раскольников, оно точно, власти преследуют, но «чепи брячаху» всюду, а не только на раскольниках. Гнетут весь народ, так-то, братья, так-то, сестры... Засим перекинулся к царю. Присные лижут царя, всю душу и слизали. Они-то, царь и присные, источник всей муки мученической. А далее – «символ веры»: земля – крестьянам, тем, кто на земле пот льет; равенство пред законом – «да одинако нам бог распростре небо, еще же луна и солнце всем сияют равно»; наконец – самоуправление. И замкнул тезисом: необходимо, братья и сестры, положить душу свою за други своя...

Александр Дмитрич утверждал, что рассуждения эти сделали известное впечатление, но неприятно поражала сдержанность, монашеская какая-то сдержанность. А вернее было бы сказать: узость кругозора. Воздыхали: «Время приспе неослабно страдати», «Многими скорбьми подобает внити во царствие небесное».

Прорывалась, правда, и реальная обида на реальную власть, на реальные утеснения. Кто-то даже примолвил, что и вооружиться-де не велик грех. Но, увы, не только общего порыва, но и общего мнения не возникло. «Обсудить, обсудить надо».

Александра Дмитрича бодрила аналогия с революционными кружками. «Поди, поди облудчай блудню» – и он опять приступал, и опять.

Однажды на эти посиделки возьми и пожалуй «сам» наставник-руководитель. Пришел, бороду выставил, прищурился: «Как вас звать? Откуда вы?» Глядел нагло, а говорил тихо и ни разу на «ты».

Завязался диспут: смирение или сопротивление? Оба ссылались на писание, и тот и другой. Слушатели плотно держали сторону наставника – и привычнее и надежнее. Пришлый-то человек нынче здесь, завтра ветер унес, а наставник, он тебя ежели и не дубьем, то рублем непременно достанет. Впрочем, слышались и голоса в поддержку пропатора: необходимо, конечно, «оживлять дух смирением», но не следует и лицемерно относиться к учению Спасителя. Ощутилось, словом, шатание.

И тогда смиренномудрый наставник сказал Михайлову: «Если бы я не понимал, как должно, Евангелия, то сейчас бы донес на вас становому». Александр Дмитрич не поспел рта открыть, как вступился Максим, мужик, у которого Михайлов квартировал: «Зачем доносить? Ведь он не за себя хлопочет, а за весь народ».

Тут уж публика, как всегда при «запахе» доноительства, вроде бы заскучала, к домашности ее потянуло, разошлась.

В ту пору полицейские надзиратели регулярно рапортовали губернатору: честь имею донести вашему превосходительству, что по селу такому-то все обстоит благополучно. Михайлову, разумеется, не было резона дожидаться, пока в губернию полетит иная бумага: не все-де благополучно. Он и думать забыл о водяной мельнице, давай бог ноги...

В конце лета он в Москву ездил, это было необходимо. (Он в Москву, а моя Анна Илларионна – в Саратов, вот и разминулись!) Про московский его визит – я позже, а сейчас продолжим «хождение», минуя московский антракт, чтоб покончить с этим сюжетом.

Ну хорошо. Бродячая жизнь открыла ему глаза на многие стороны народного быта, народных нужд, о которых никогда бы не узнал из книг. Это одно. А есть и другое, опять связанное с расколом.

Мой рыцарь восхищался, помню, одним деревенским стариком. «Я был очарован...» (Слово-то в его лексиконе редчайшее: «очарован».) Так вот, очарован был стариком этим: много-де я видел интеллигентных лиц, а такого никогда не видел...

Было так. Вечерело. Михайлов едва брел – верст сорок отломал. Село близилось, дымом тянуло; с полей возвращались. Поравнялся с ним вот этот старик. Александр Дмитрич справился, есть ли у вас постоянный двор. Старик ответил. Разговорились. На околице старик и приглашает: «Зачем постоянный? Загляни, мил человек, ко мне». А почему такое приглашение? Михайлов-то знал, что в селе живут раскольники-бегуны, дал это понять спутнику. Тот глянул на него сочувственно, вот и пригласил.

Приходят. Бабы на стол собрали. Александр Дмитрич, как полагается, из своей посуды, особняком. А после удалился на двор – молиться... Совсем свечерело, избу луна осветила, все затихло, а он со стариком сидел на лавке, и старик рассказывал про житье-бытье.

Старик долго искал правой веры: «Все веры, мил человек, прошел, а правой-то нету; которые есть, что раскольничья, что никонианская, – лицемерие, обряд без любви к людям, без бога. И вот, слышь, лет тому двадцать пять объявился у нас старец, да и зачал учить: не по-христиански живете. Надобно, чтоб все общее – и житье, и питье, и жилье, и работа...»

И вот эти-то мужики, и этот, значит, рассказчик – все они бросают свои избы, перебираются со скарбом и домочадцами под общую кровлю, скотину сгуртили – словом, все как по писаному, по говореному. И зажили. Пашут вместе, сеют вместе, вместе жнут. А к вечерней звезде – сойдутся, молятся, беседуют, и все-то у них ладом, все по-хорошему. Жили дружно, рассказывал старик, очень дружно, по закону правды и совести. (Вы понимаете, что для Михайлова подобное свидетельство значило!)

Ну-с, а дальше? А дальше стали матери замечать, что детишки чахнут, хиреют, потому что большую часть времени – в школе. Школу держал тот старик, «учитель жизни», со своими взрослыми дочерью и сыном. А были они, эти воспитатели-пестуны, зело суровы, на малых взирали как на взрослых... (Между нами, я думаю, они делали опыт взращения смиренников для будущей общины. Метода более пагубная, нежели классическая...) И совершенно заморили детей постами, бдениями, молитвами. Матери взбунтовались: не хотим! Возникла трещина. Она все ширилась. Школа распалась, а затем и общее согласие рухнуло.

Александр Дмитрич эту историю так резюмировал: если б не суровый аскетизм старика учителя, то был бы на земле мир, во человецех благоволение. Получалось, что принцип праведен, да вот случайные обстоятельства все загубили.

Услыхал я про волжскую эту фаланстеру и вспомнил Петрашевского... Несчастный Петрашевский был нашего, одиннадцатого курса. После лица мы как-то потерялись. Минуло года четыре... нет, пожалуй, все пять, делает он мне визит. По-прежнему глядел сентябрем, сумрачный был.

Корпоративный дух тогда был силен, не в пример нынешнему, это точно. Вы навряд знаете, а Толстой, министр, на что чугунный, а и тот не хотел трогать Салтыкова: однокашник, лицеист! Я это к тому, что Петрашевский, несмотря на долгий перерыв в наших отношениях, тотчас вручил мне свой знаменитый «Словарь», уже запрещенный. Мало того, пригласил на вечера свои по пятницам.

Жил он у матушки, угол Садовой и Покровской площади, так что мне было сподручно посещать «пятницы». (Благо там отменно ужинали; отменные ужины не мешали беседам о положении мужиков-горемык.) Я, однако, посетил одну-единственную «пятницу». Не от испуга, этого не было. Страх пронизал, когда всех арестовали, когда и меня, раба божьего, под белы руки – да в крепость... А тогда ни страх, не испуг, а, так сказать, из бережливости собственного времени. Видите ли, у них там, у Михаила Васильича, за трапезой толковали о социализме. А эта теория всегда казалась мне красивой грезой, и только.

Мой однокашник для будущей фаланстерии избрал свою деревушку – десяток дворов, полсотни душ. В медвежьих новгородских чашах. (Почему-то запало в память: на опушке соснового, корабельного бора...)

Предлог сыскался: староста попросил барского лесу – чинить избы. А барин обрадовался: постой, зачем чинить рухлядь? Берите-ка лесу, сколь хотите, хижины долой, да будет одно общее просторное помещение, а в нем покой для каждой семьи, и общая зала для всех вместе. Стройте, мужики! И хозяйствовать будете вместе. Об утвари, об орудиях не беспокойтесь – барин купит... Гармоническая жизнь мерещилась Михаилу Васильичу. Он наперед ликовал. Искренне, чисто ликовал.

Проходит время. Встречаю Петрашевского на Невском. Дождь, мрак. Бородища, как у Черномора, шляпа нахлобучена, палкой стук-стук-стук. (Борода – прямой по-тогдашнему вызов! Ведь было еще четверть века до повой эры, до высочайшего разрешения чиновникам, да и то не всех ведомств, носить бороды.)

«А-а, здравствуй, – говорю, – здравствуй, Петрашевский! Что не зайдешь? Как твой опыт?» Он сморщился, будто дичок надкусил: «Вообрази, экие дикари, экие мерзавцы? Сущие звери!» Я – тормозом: «Что такое? Объяснись толком. Неужели посмели отказаться?» Он посмотрел на меня недоуменно: «Да как бы они посмели, если барин приказал?!»

Выходит, мы оба – и я, Фома неверующий, и он, социалист, – оба мы будто лбом в стену: да как это, черт возьми, они смели не поверить, что им блага желают, что для них всем жертвуют, и ужином на Садовой жертвуют, и карьерой в министерстве иностранных дел жертвуют, и всем петербургским жертвуют, ничего для себя не требуют и ничего не желают, а они не верят. Нет, мужики не посмели отказаться. Возвели фаланстеру. Петрашевский, как обещался, все доставил.

И вот на Невском, стуча палкой, бородой ворочая, говорит: «Вообрази, Зотов! Что они со мною, звери, сделали?» Голос Петрашевского прерывался? «А вот вообрази! Я уснул со сладким сознанием исполненного долга. Просыпаюсь чуть свет, тороплюсь к открытию фаланстерии, а там – черным-черно, головешки мерцают: ночью спалили, дотла спалили...»

Горе было для него, крушение. И вспомнил я об этом потому, что вижу общее в его опыте и у тех раскольников, про которых Александр Дмитрич рассказывал. Пути разные, а крушение общее. Петрашевский, так сказать, учредил фаланстерию свыше, раскольник – уговорил, увлек. А результат один, потому и вспомнил.

Ах, Петрашевский, фантазер, чистая душа... Кстати, вот что. Впрочем, может и не совсем кстати, но к слову. На примере Петрашевского отчетливо виден один штрих, резкий и постыдный: каждого у нас точит страх тайной полиции. Ежели человек в открытую высказывается, мы первым делом вздрагиваем – уж не шпион ли? Вот и Петрашевского подозревали. Он пожелал сделаться членом общества посещения бедных. Я там состоял, он и просил ходатайствовать. Я, разумеется, исполнил. И что думаете? Отказали. Отказали именно из-за подозрений. И опять наша, домашняя черта. Во главе общества был князь Одоевский. Отнюдь не «красный», совершенно положительной репутации, с точки зрения власти. И отказал: тоже опасался агента тайной полиции. Уж ему-то чего было, а нет... Где еще такое встретишь?..

Забредает однажды Александр Дмитрич в другую деревню. Стояла духота перед грозой. Встречается мужичок. Михайлов: «Здорово!» Тот: «Ну, здорово, коли так... Чего тебе?» – «Да я, брат, может, лавку спроворю...» Мужик поскреб затылок. «Эт-та можна-а-а». И жестом, повсеместно известным, дает сигнал: «Эвон, недалече, сердешный...»

«Сердешный» всегда недалече. А во-вторых, русскому человеку сомнителен человек непьющий. И Михайлов не перечил. Сели в кабаке. Мужик оживился, грудь колесом. «Я-де все могу, я, – говорит, – не гляди, что голытьба, меня все богатеи-стервы у-у-у пугаются, никому от меня спуска». Александр Дмитрич косится – кабатчик, еще какие-то, а мужик и ухом не ведет. Градус в нем играет. «Война, – говорит, – в раззор разоряет, калек да нищих как из кузова посыпало... – И заскрежетал зубами: – Возмущенье скоро будет, берегись!» Александр Дмитрич тихонько: «Почему так думаешь?» – «А потому, год Пугача наступает». «Какой год Пугача, дядя?» – «А такой год, тетя, когда бар изведем наскрозь!»

Тут надо прибавить: в этих самых уездах, когда пугачевщина гуляла, Пугачев ловко раскольниками пользовался. Стенька Разин так-то не умел, а Емелька – умел... Короче, Александр Дмитрич обрадовался: чего желал услышать, то и услышал.

А вскоре обрел он наконец место стоянки. Называлось очень мило – Синенькие.

5

В Синеньких погребальный колокол звонил. Панихиду служили по каким-то местным барам. И опять Михайлову имя Пугача прошелестело. Отступая, Емелька повесил тамошних дворян. И вот второе столетие ежегодно служили здесь за упокой души таких-то и таких-то. «У попа дворяне на языке, а у народа Емельян Иваныч на уме. Добро!» – подумал Александр Дмитрич.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.